



Владимир Санин
"Трудно отпускает Антарктида"
Зов полярных широт – 2

Аннотация

Позади — год тяжелой зимовки, впереди — долгожданное возвращение домой, на родину. Все разговоры — об этом самом главном в жизни полярника событии, ибо, как сказал Фритьоф Нансен, «главная прелесть всякого путешествия — в возвращении».

Ледокол «Обь» приближается к станции Лазарев, полярники готовятся к встрече, но — корабль не может пробиться через мощный десятибалльный лед. Между «Обью» и станцией Лазарев — сто пятьдесят километров сплошного непроходимого льда...

Обмен радиogramмами приводит к такому решению: «Обь», на борту которой находятся летчики, возвращается к станции Молодежная, где законсервирован самолет ЛИ 2, и отзимовавшая смена будет эвакуирована с Лазарева по воздуху.

Томительное ожидание... Все одиннадцать полярников понимают, что над возвращением домой нависла серьезная угроза, отнюдь не исключен вариант, при котором придется остаться зимовать на второй год. Мысль об этом невыносима для

всех.

ВЛАДИСЛАВУ ГЕРБОВИЧУ МУЖЕСТВЕННОМУ ПОЛЯРНИКУ И НЕСГИБАЕМОМУ
ЧЕЛОВЕКУ — С ЛЮБОВЬЮ

ИЗ ЗАПИСОК ГРУЗДЕВА

Попробую разобраться, с чего все началось. Нелегкое это дело — разложить по полочкам причины и следствия. Впрочем, в этом есть и свой плюс, ведь наша память вроде решета: труха проваливается, а существенное остается.

— Конечно же, все началось с предложения Семенова! Не призови он нас тогда остаться, но было бы и этой истории. Семенова я не любил. Общаясь с ним, я постоянно чувствовал его извечную, давящую правоту, превосходство его сотканной из одних достоинств личности над своей ущербной. Будь у него герб, на нем следовало бы отчеканить: «Долг, справедливость, дисциплина и порядок!» Для меня же этого многовато. Если такие категории, как долг и справедливость, я воспринимаю всерьез, то дисциплина и порядок еще со школьной скамьи внушают мне ужас. Оки предполагают беспрекословное подчинение любым распоряжениям свыше, против чего вопиет все мое существо. Терпеть не могу железной дисциплины! В моей характеристике после дрейфа на Льдине было написано: «Инженер-локаторщик и магнитолог высокой квалификации. В коллективе уживается трудно, не всегда дисциплинирован», — почти что волчий билет для полярника. Уверен, что Семенов ни за что не взял бы меня в экспедицию, если бы накануне посадки на «Обь» не попал в автомобильную аварию Дима Кузьмин. Вот и пришлось взять первого же попавшегося под руку кандидата, каковым оказался ваш покорный слуга.

Хотите неожиданное признание? Начальником станции Семенов был идеальным. Меня он не раз обижал, даже оскорблял, и наедине с самим собой я мог бы расправиться с ним, как повар с картошкой, мне это сделать проще, чем; турецкому султану послать шнурок провинившемуся аге; но я, как говорил Александр Сергеевич, «пишу не для похвал», а исповедуюсь, поэтому ни кривить душой, ни просто врать не стану: что было, то было. Да, начальником Семенов был идеальным — в том смысле, что распускаться никому не позволял. С такой братвой, как зимовщики, иначе нельзя: рука, ведущая их к новым свершениям, должна быть в Железной перчатке.

Ладно, об этом потом, а то перо уводит меня в сторону. Скажу только одно: зимовка наша прошла удачно. Были, конечно, отдельные случаи — нетипичные, как принято их называть, но последствий они не имели. Не очень-то распоеется воробышек в железной перчатке!

А теперь введу вас в обстановку.

Положите перед собой карту мира, отыщите в Антарктиде Землю Королевы Мод и определите точку с координатами 70 градусов южной широты и 13 градусов восточной

долготы. Примерно в данной точке и находится станция Лазарев — вернее, погребенное под снегом помещение бывшей станции, давно оставленной полярниками. А произошло это потому, что место для станции было выбрано не очень удачное — на шельфовом леднике.

Поясню, что это такое. На Антарктиду природа нахлобучила ледяную шапку — купол толщиной местами больше четырех километров. К берегам купол понижается и образует ледники, имеющие тенденцию сползать в море, раскалываться и превращаться в айсберги. Но бывает, что гигантский ледник, покидая континент, ложится на море, как на пуховую постель, и спокойно лежит себе таким лжеберегом, вводя в заблуждение не подозревающих о таком надувательстве географов. Отметишь этот берег на карте, дашь ему чье-нибудь громкое имя, а через год вернешься — нет берега, испарился! Скандал! И человек, чье имя дали, обижается, и над географом смеются: принял шельфовый ледник за континент! А воды Южного океана бороздят айсберги, бывшие год назад тем самым лжеберегом.

На краю шельфового ледника и построили в свое время станцию Лазарев. Представляете, каково было на ней зимовать? Ребята ложились спать и не знали, проснутся ли они вообще, а если и проснутся, то где — в своих постелях или на айсберге. И хотя тот ледник до сего дня не ухнул в море, станцию решили перевести в более пригодное для жилья место. Оно нашлось в восьмидесяти километрах от побережья, в оазисе Ширмахера, где и была сооружена Новолазаревская. Там мы и зимовали.

Остается объяснить вам одно: почему мы оказались на станции Лазарев, каким ветром нас туда занесло.

Как было сказано выше, благодаря нашему отцу — командиру (словечко не мое — Вени Филатова) Сергею Николаевичу Семенову.

Впрочем, то была лишь инициатива, а не приказ — уточняю в интересах истины. Когда в феврале пришла «Обь» с новой сменой, Семенов собрал нас и предложил: «Чем болтаться пассажирами на корабле, пока он будет обходить станции и разгружаться, лучше поможем новой смене. Л через два месяца „Обь“ за нами вернется». Без энтузиазма и оваций, но согласились, логика в этом предложении была. Помогли сменщикам построить еще один дом, наладить быт и работу, а когда «Обь» стала приближаться, вышли на двух тягачах с балками ей навстречу. Рандеву было назначено у станции Лазарев.

Вот, кажется, и все.

Стоп, еще не все. Нужно рассказать об одном важном обстоятельстве.

Дорога от Новолазаревской к морю так же мало напоминает привычную вашему взгляду автостраду, как пещера дикаря — Грановитую палату. Представьте себе поверхность ледника, пустынную, обдуваемую свирепым и ветрами, изобилующую трещинами, — пока падаешь, успеешь три раза повторить таблицу умножения, и каждая эта сволочная трещина замаскирована снежным мостом, который иной раз и тягач выдержит, а другой и под человеком рухнет. Шаткое, скажем прямо, инженерное сооружение. Светлым полярным летом по такой магистрали идешь — и то с огромным и всепоглощающим вниманием под ноги смотришь, а мы отправились в путь в начале апреля, в надвигающиеся осенние сумерки. Два раза чуть не провалились, но отделались легким испугом: в одном случае трещина оказалась шириной с метр, а в другом Веня успел тормознуть, когда тягач уже повис над входом в преисподнюю.

Потом, правда, Веня с полчаса икал, но, как заметил Бармин, это было сугубо личным делом Вени, тем более что для здоровья человека икота не так вредна, как падение в пропасть. А если без кладбищенского юмора, то лишь когда показался «небоскреб» — полузанесенная снегом вышка аэрологического павильона станции Лазарев, — мы вздохнули с облегчением.

Почему это обстоятельство — тяжелая дорога — важное, вы скоро поймете, а подавайте констатировать: мы, старая смена Новолазаревской, за трое суток с грехом пополам доползли до моря и с лютым нетерпением стали ожидать подхода «Оби».

«Обь» в двухстах километрах!

Эту новость только что выловил из эфира Костя Томилин. Двести километров — это десять часов ходу для нашей единственной в мире, пламенно любимой «Оби» с ее допотопными двенадцатью узлами. Ладно. Ждали четырнадцать месяцев, подождем еще десять часов. Море свободно ото льда, сколько хватает глаз — водная гладь. Припай унесло — большая удача. Значит, «Обь» прямехонько подойдет и пришвартуется к ледяному барьеру, высота которого у Лазарева метров пятнадцать, чуть не вровень с бортом, — тоже хорошо, меньше хлопот. Погрузим старенькие тягачи, давно мечтающие подлечить свои распухшие от работы и холода суставы, переберемся сами — и прости-прощай, белый материк, уют наш ледовый, долго мы с тобой не увидимся. Я, во всяком случае, бросать монеты в море не стану — Арктика по мне уютнее: и жизни в ней больше и к дому ближе. Десять часов до подхода «Оби», и я счастлив. Не десять месяцев, недель или дней, а десять часов, черт возьми! На «Оби» я буду по утрам принимать душ, весь день читать книги и видеть не во снах, а наяву женщин — их там шесть или, кажется, семь, не помню. Не ухмыляйтесь, циники, даже просто видеть живых женщин — большая радость для мужчины, хотя, честно говоря, лучше бы их на борту не было вовсе. На «Оби» я буду с каждым днем на пятьсот километров приближаться к дому, ясно? Через сорок дней я сойду на асфальт причала и с головой окунусь в жизнь, которую до муки, отчаянно люблю!

Мы возвращаемся домой: этот факт нужно осмыслить, уж слишком крут зигзаг. С чего начать?

Вот мои товарищи. Не я их выбрал и не они меня: мы, как солдаты, оказались вместе по воле случая (или, вернее, Семенова). Зимовка силой притерла нас друг к другу, каждый из них, желанный или нет, вошел в мою жизнь и занял в ней свое место. Сейчас я не представляю себе дня без Гаранина, Бармина или Пухова — могу перечислить и всех остальных; на станции, если я несколько часов кого-либо не видел, то ощущал какое-то беспокойство, какое, наверное, ощущает пастух, не пересчитавший свое стадо. А через десять часов мы разойдемся по каютам и мгновенно перестанем служить деталями единого часового механизма. Возможно, по привычке еще долго будем общаться — слишком многое вместе пережито, но с течением времени неизбежно скажется разница в возрасте, характерах, интересах и обнаружится, что многие из нас не очень-то друг другу нужны. И однажды я, быть может, с сожалением почувствую, что мне не хочется продолжать философские споры с Гараниным, острить с доктором, слушать жалобы Пухова и травлю Филатова.

Нет, не стану кощунствовать: люди, с которыми пережита зимовка, никогда не будут мне безразличны. Захочу — не смогу выбросить из сердца...

Я ловлю себя на том, что становлюсь сентиментальным. Откуда мне знать, кто из них останется в сердце? Время покажет. И вообще не с того конца начал я осмысливать

факт возвращения домой.

Я саркастически усмехаюсь: вспомнил, как одна знакомая дама, возвратившись из трехнедельного круиза вокруг Европы, патетически восклицала: «О родная страна! о дым отечества!» И закатывала глаза, демонстрируя обилие нахлынувших на нее чувств! Что ты понимаешь в дыме отечества, жеманная кукла?

Не ты, а мои товарищи и я понимаем, что это такое!

Скажите, многовато беру на себя? Тогда слушайте. Четыреста пятьдесят дней подряд, изо дня в день мы видели один и те же лица, льды и горы. Я терпеть не могу Пухова, но встречался с ним по двадцать раз в сутки. Когда я хотел одиночества и тишины, Горемыкин начинал греметь кастрюлями, а Дугин заводил в каюту компании спую любимую, тысячу раз слышанную пластинку.

Четыреста пятьдесят дней мы жили одни на земном шаре. Нам некуда было пойти, понимаете? Этого мало, поймите и другое: мы точно знали, что ни при каких обстоятельствах к нам никто не придет. Вот что страшно: никто. Ровно через год, и ни одним днем раньше. Если бы Гаранин заболел на дрейфующей станции, за ним прислали бы самолет. А когда месяц назад Андрей начал резко худеть, Бармин получал лишь радиogramмы с умными советами. Тогда-то я и понял, что такое дым отечества...

Домой, скорое домой! У меня нет полярного фанатизма Семенова, тихой покорности Нетудыхаты, потрясающей способности придумывать себе работу Горемыкина. Я хочу скорее домой!

Но сначала нужно прожить десять часов.

Мы бродим по расположению, как лунатики. Часы — наш враг, на них тошно смотреть. Все завидуют Нетудыхате: он спит четвертый час. Этот до удивления спокойный, выносливый, как тягач, человек старше всех нас, но лучше всех перенес зимовку — у него нет нервов.

Праздность делает время бесконечным. На станции даже в пургу можно было чем-то себя занять: кино хоть трижды в день, бильярд, книги, домино. А что делать на пустынном, забытом богом и людьми леднике? Мертвяки — деревянные тумбы для швартовых — мы установили, к погрузке подготовились, в помещении бывшей станции с экскурсионными целями побывали: глубоко под снегом, вход через люк, стены в инее, холодно, бр-р! Как люди тут жили?

Я ухожу в балок, ложусь на нары. Я совершенно опустошен, ни о чем не могу думать, теперь, когда первые восторги перегорели, мне кажется, что даже появление «Оби» не выведет меня из транса. Ведь она будет дней сорок плестись, а я хочу уже сегодня, сейчас увидеть деревья, троллейбусы, Москву и бабушку — единственного человека, который любит меня бескорыстно, бабушку, для которой я «Гошенька мой ненаглядный». Становится даже тоскливо от такой гнусной перспективы — сорок дней и ночей болтаться по морям и океанам, да еще с качкой, которую я плохо переношу. Прав был мудрый Экклезиаст: нет счастья под лупой... От этих пустых и довольно-таки жалких мыслей меня отвлекает кряхтенье на нижних нарах. Я и не заметил, что там кто-то лежит.

— Георгий Борисыч, — слышится скрипучий и всегда меня раздражающий голос Пухова, — у вас есть что-нибудь от изжоги?

Черт бы побрал этого нытика с его изжогой!

— Попросите у повара соды, — бормочу я и закрываю глаза, словно это спасет меня от дальнейших приставаний.

— А сколько соды нужно?

— Вы же знаете не хуже меня, четверть ложки.

— Ложки разные бывают.

— Чайной.

— А у Вали есть сода?

— Есть, вы это тоже знаете не хуже меня.

— А сода не вредна для организма?

— Вредна!

— Чего кричите, не глухой. А что же вредно?

— Все вредно, Пухов! Жить вредно! Каждый день жизни наносит человеку непоправимый вред!

Я выбегаю из балки и с грохотом захлопываю дверь. Кроткий ангел, запри его в одной комнате с Пуховым, через час полезет на стенку и начнет богохульствовать.

Погода редкостная: сухой, градусов под двадцать морозец, воздух недвижим, над темнеющим морем появились первые звезды — Антарктида напоследок будто извиняется перед нами за свое прескверное поведение. Фары тягача вырывают из сумерек суесящихся людей: это Филатов, Томилин и Горемыкин втроем пытаются одолеть доктора. Под общий смех грузный Валя Горемыкин неожиданно взмывает в воздух и всей тяжестью обрушивается на Филатова. Пока они со щенячьим визгом разбирают свои руки, и ноги, на них летит Томилин, и Бармин скромно кланяется аплодирующей публике. Ловко это у него получается, даже Семенов с его медвежьей хваткой не устоит против доктора.

— Кто еще желает? — высокомерно спрашивает победитель и тут же зарывается носом в снег: это Филатов подползает сзади и вероломно дергает за унты.

Семенов улыбается. Ростом он пониже Бармина, но широк в плечах и мускулист; антропометрические данные его превосходны, будь у всех людей его здоровье, врачи перемерли бы с голоду, как мухи. С легкой руки Саши Бармина вольная борьба на станции процветает, но я ни разу не видел Семенова на лопатках. Поэтому я с интересом смотрю, как на четвереньках к нему подползает Томилин и делает знаки Филатову. Но Семенов чует опасность медвежьим нюхом.

Веселая возня продолжается. Не от избытка сил резвятся мои товарищи — от лихорадочного возбуждения. Вот-вот оно уляжется, и Семенов начнет срочно придумывать, чем занять людей. Это его глубочайшее убеждение, кредо: люди на зимовке должны быть заняты, как солдаты, так как одиночество и бездеятельность предполагают сосредоточенность и уход в себя, а когда это случается, полярника, бывает, охватывает тоска по дому. Психолог опытный, ничего не скажешь. Я в упор смотрю на него, он это замечает. В его глазах вопрос.

— Сергей Николаич, — тихо говорю я, — сказать, о чем вы жалеете?

Семенов пожимает плечами.

— Говорите.

— Ну, хотя бы о том, что по дороге с какого-либо тягача не сползла гусеница или не полетел главный фрикцион. Еще лучше и то и другое.

— Почему?

— Тогда бы мы пришли как раз к подходу «Оби» и не надо было бы устраивать этот цирк.

Семенов как-то странно на меня смотрит.

— Не могу отказать вам в проникательности. Но зачем она?

— Просто игра ума.

— В Мефистофеля хотите поиграть? Говорите до конца.

— Хорошо. Вы уже знаете что-то такое, чего не знаем мы. Вы в телепатию верите?

— Верить, Груздев, можно в себя, в людей, в дело.

— Да, я забыл, что вы рационалист. Так вот: ваш мозг излучает тревогу, причина которой мне неясна.

— Сейчас поймете, — с неприкрытой насмешкой говорит Семенов, и я с криком куда-то лечу. На мне мгновенно вырастает «куча мала», я задыхаюсь и дико ору, потому что кто-то срывает с меня унты, стягивает носки и натирает ступни колючим снегом.

— Сбросить телепата с барьера в океан! — провозглашает Филатов.

На мои ноги натягивают унты, хватают меня, раскачивают и ставят головой в сугроб. Глупо, но смешно, и я смеюсь вместе со всеми.

— Ну, ясновидец, вопросов больше нет? — интересуется Семенов.

— Благодарю. — Я кланяюсь. — Ваши аргументы очень убедительны.

— Николаич! — Из балка высовывается Скориков. — Самойлов просит! По микрофону! Слышимость на все сто.

Перегоняя друг друга, мы мчимся к балку.

— Эй, голытьба, куда прете? — кричит Скориков. — Брысь!

Мы расступаемся, пропуская Семенова, но не уходим, а Веня тихонько подсовывает рукавицу, мешая Скорикову прикрыть дверь. Мы нарушаем дисциплину, и нам на это плевать: в эфире «Обь»!

— Семенов слушает, Василий Петрович. Прием.

— Привет тебе, Сергей, привет. Дела по-прежнему не очень важные, не очень. Мощное ледяное поле, не можем пробиться, не можем. Идем вдоль кромки, ищем слабинку. Как понял меня?

— Все понял, Петрович, понял тебя правильно. Где находишься? Прием.

— В ста тридцати километрах от Лазарева, в ста тридцати километрах.

Десятибалльный лед, боюсь поломать винт, поломать винт. Продолжаю поиск. Прием.

— Желаю удачи, Петрович, желаю удачи. Надеюсь, что пробьешься. До связи.

Семенов положил микрофон, обвел нас глазами, закурил.

— Дежурный! — металлическим голосом. — Почему распахнута дверь?

Один за другим мы полезли в балок и столпились вокруг Семенова.

— Горемыкин, вы не забыли, что через пятнадцать минут ужин?

Валя Горемыкин поежился, но не сдвинулся с места.

— Мой разговор с капитаном все слышали? Больше ничего добавить не имею.

Будем ждать. Думаю, к утру «Обь» пробьется.

В наступившей тишине кто-то присвистнул. Я почему-то взглянул на часы. Было 18 часов 45 минут местному времени, 5 апреля. Так и врезалось в память: с этой минуты и началась наша история.

КАПИТАН САМОЙЛОВ

Если есть на свете чудачки, которые любят снега и льды, то я к ним не принадлежу. Терпеть не могу холода: пурга и морозы приводят меня в настолько скверное настроение, что в это время, как говорят на судне, «лучше Мастеру на глаза не

попадайся». Куда больше мне по душе среднерусская природа теплым летом; сложись моя жизнь по-другому, рыбачил бы себе на Волге и был бы премного доволен судьбой. Когда после одного антарктического рейса бойкий репортер пристал с вопросом, как это я стал «ледовым капитаном», я так ему и ответил: «По недоразумению. Плавал в Арктике, мечтал о тропиках, и вот вызвали в кабинет и спросили: — В южные моря пойдешь? — Еще бы! — Хорошо, принимай „Обь“.

А между тем море я люблю спокойное, без всяких там льдов, айсбергов, штормов и прочих штучек, по острым ощущениям не скучаю. И не верю тем, кто скучает: брада; моряк, который любит опасности, не любит свое дно. Мне доверен корабль, а не камнедробилка, он только с виду такой безропотный, а на самом деле вопит от боли, когда искромсанные льдины ползут одна на другую и лупят его по бортам. Может, в кино это и выглядит очень эффектно, но для меня лед — опасный и хитрый враг: он лопается, расступается для виду, будто не в силах дальше сопротивляться, а на самом деле заманивает корабль в ловушку — как паук. Четверть века плаваю в высоких широтах, а всех пакостей его так и не познал.

— Не нравится мне это поле, Петрович, — говорит старпом.

Лосеву я верю: не первый десяток тысяч миль разменяли. В такой обстановке один ум хорошо, а два лучше.

Я тоже не жду от этого поля ничего хорошего. Бескрайнее — сплошные льды и торосы. И все-таки попытаемся еще разок, чем черт не шутит, пока бог, спит?

Очередная попытка делается так. Сначала «Обь» с разбегу вползает на ледяное поле, давит его всем своим телом и пробивает, канал — скажем, с полкорпуса. Потом дает задний ход, замирает и готовится к новому налету — на трещину, которую нащупывают прожекторы. Бывает, врубишься в такую — и поле расползается на десятки метров; значит, попал на молодой или однолетний лед, в антарктических водах он преобладает; чем дальше, тем легче, а там, глядишь, и выползаешь на чистую воду. Привычная работа, сколько раз шли к Антарктиде, все-таки пробивались к берегу или, на худой конец, к припаю, хотя и не без драки. Припай — совсем другое дело, лед в нем обычно многолетний, могучий, его штурмовать нет смысла: вгрызся в него, стал на ледовые якоря и гони на берег грузы санно-гусеничным путем. Припай — он километров двадцать, ну, тридцать; если лед крепкий, без трещин и снежниц, тракторы летают по нему, как ласточки, не работа, а удовольствие.

А нынче не припай — ледовый пояс преградил путь к берегу, до которого сто с лишним километров. Не припомню такого, чтобы в начале апреля Антарктида не подпускала к себе корабль...

И разогнались хорошо, и в трещину врубились точно, а лед раздвинули на считанные метры. Слишком мощным оказалось поле, таранить десятибалльный паковый лед — чистое донкихотство. Винт у «Оби» один, повредишь его — и пиши пропало, корабль станет неуправляемым. А в этих забытых богом широтах нет смысла засорять эфир просьбами о помощи — прийти некому: американский ледокол «Глетчер» на другом краю Антарктиды, у Мак-Мердо, а японский «Фудзи» маломощный, не пробьется. Застрянем — первый же ураган погубит судно, разнесет, как стекляшку, о первый же попавшийся айсберг. Вон их сколько вокруг, только и ждут...

Пошли вдоль кромки льда искать удачи в другом месте. Торосы, вросшие в лед айсберги, не подступишься... Был бы исправным вертолет. «Не надо подковы — лошадь захромала...» Вон она, стрекоза, на вертолетной палубе бесполезным грузом, в шторм

лопасти погнуло, а запасных нет. Вечно нам чего-то не хватает, не хозяйство, а тришкин кафтан. Аренда «Оби» обходится Институту в пять тысяч ежедневно, а сколько этих дней потеряно из-за того, что нет запасных лопастей для вертолета?

Я не желчный критикан и не брюзга, я просто устал. Последние сутки я почти не спал, выпил слишком много кофе и кончаю третью пачку сигарет — многовато для человека, которому все-таки перевалило за пятьдесят. Нет, Лосеву я доверился бы даже в этой обстановке, я просто не могу спать, когда льды бьют корабль — мне самому от этого больно, будто по моим ребрам садят. А может, постарел, выхожу в тираж? Это для всех я Мастер, единовластный хозяин «Оби», а самому себе могу признаться в том, что я немолодой и уставший человек, и этому человеку до чертиков хочется домой, в семью, которая привыкла жить без него. Мне хочется никем не командовать и не принимать решений, я хочу снять китель и надеть домашнюю куртку, стать покладистым отцом и мужем — хотя бы на один лишь месяц. Не знаю, как другим, а мне дома море не снится: не успеешь по нему соскучиться, как приходит время снова подниматься на борт и отдавать швартовы. Знаю, старые капитаны, которые прогуливают внучат в парках, сочтут мои жалобы кощунством — стонут по ночам старики без моря, то пусть вспомнят, о чем сами мечтали, когда на десятые сутки выбирались из тайфуна или дрейфовали в тяжелых паковых льдах.

Не только я, мой экипаж тоже на пределе. Пять с половиной месяцев назад мы вышли из Ленинграда, из них четыре с лишним месяца бродим в антарктических водах; в районе Мирного чуть не поцеловались с айсбергом — увернулись, отделались смятым фальшбортом, обошли все станции, сбегали в Австралию за овощами, трижды нас трепали ураганы — может, хватит?

Мальчишка, четвертый штурман, смотрит на меня горящими глазами. Год назад его выстрелили из мореходки. Необстрелянный, властью не избалованный и не обожженный. Погоди, будешь еще капитанить, многое поймешь. Интересно, какое бы ты принял решение? Власть капитана беспредельна. Никто не оспорит его приказа, если он полезет в ледовый капкан: значит, так надо, Но скажи капитан одно слово — и «Обь» возьмет курс на север, домой.

Логично сделать именно так. Судите сами: по плану «Обь» должна уже возвращаться и становиться в док на ремонт, чтобы успеть к октябрю в очередной антарктический рейс. Опять же каждый лишний день плавания стоит тысячи, за которые капитан в большом ответе. И главное, на борту находятся сто с лишним полярников, отзимовавших свое на разных станциях, а можете мне поверить, что такие люди малейшую задержку на пути домой все принимают особенно болезненно, чуть ли не как личную катастрофу: они ведь уже не дни — часы считают!

Я хочу, чтобы вы поняли, почему все-таки не скажу этого слова. Я не восторженный мальчик, не очень воспринимаю словесные красоты и даже Джека Лондона перечитываю без особого трепета — через все это уже прошел. Но есть одна вещь, к которой я отношусь очень серьезно и которая крепче всех швартовых удерживает «Обь» в этих водах; и пока сохранится шанс, пусть один из тысячи, из миллиона, я из Антарктики не уйду — это уж говорю вам, как Мастер, со всей ответственностью.

Лосев кивает направо, в четырех кабельтовых айсберг. В свете прожекторов видны многочисленные гроты, изломы Айсберг старый, весь в шрамах, да еще угол наклона как у Пизанской башни: опасный бродяга, один бог знает, сколько ему еще быть на плаву. Может, с месяц продержится, а может, через минуту опрокинется. Обойти бы его

стороной, да не выйдет, весь локатор в светлячках: айсбергов справа как собак нерезанных. «Красотища!» — восторгается Белов. Я показываю ему кулак: сглазишь, сукин сын. Проходим, держась самой кромки, с почтительнейшим уважением.

Пронесло...

Смотрю на Колю Белова и припоминаю один разговор. По пути в Антарктиду мы коротали вечера вместе — Коля, Андрей Гаранин и Серега Семенов, старые корешки. Коля, как обычно, заводил Андрея, крыл его старомодность и обзывал бродячим философом. Спорили в тот раз не помню о каком пустяке, потом, как часто бывает, зацепили по дороге предмет посолиднев и в конце концов добрались до вечности: что после нас рассыплется в прах, а что останется. Коля, хотя и летчик, человек приземленный, такая тема не его конек, и он пытался потопить ее в потоке остроумия: вечно и неизменно, мол, наше стремление воспроизводить себе подобных субъектов; мы с Серегой посмеивались, а Андрей терпеливо дождался, пока запас Колиного юмора не истощился, и слово за слово втянул нас в серьезный разговор. В нашем быстро меняющемся мире, говорил тогда Андрей, есть ценности преходящие и вечные. Люди приходят и уходят, ветшают одни теории и возникают другие, выбрасываются на свалку машины, еще вчера казавшиеся совершенством, и даже спутники и космические корабли не так волнуют, как совсем недавно, в гагаринские времена. Эти ценности преходящи, через тысячелетия историки будут лишь вскользь упоминать о них в своих монографиях. Но есть вечная ценность, которая будет во все века будоражить души: светлые идеалы человечества.

— Но они тоже меняются, — возразил Белов.

— Не все и не всегда, — ответил Андрей.

— Назови вечную ценность — и я сдаюсь!

— Пожалуйста. «Не оставляй человека в беде».

У нас, моряков, есть свои обычаи, у летчиков и полярников свои — неписанные и никем не утвержденные. Родились они в незапамятные времена, от кого — не размышлял, наверное, от самой жизни, выношенного ею опыта, и так уж получилось, что нет для нашего брата ничего важнее, чем их соблюсти и не опозорить себя по молодости или на старости лет. Семья может не узнать, начальство простит, а старый друг не подаст руки. В высоких широтах больше инструкций и приказов людьми правит Полярный закон. Много в нем есть параграфов, кровью написанных и сердцем утвержденных, и главный из них тот, о котором сказал тогда Андрей: «Не оставляй человека в беде».

А их одиннадцать — там, на станции Лазарев. Они тоже отзимовали свое и должны возвратиться домой. Должны во что бы то ни стало, иначе их вера в Полярный закон будет подорвана!

Не все поймут меня правильно. Не слышал, а знаю, в каютах кое-кто меня поливает: «Заупрямился, старый черт, не иначе с женой по радио поругался — наказывает». Быть такого не может, чтоб не поливали, осточертели холодные воды хуже горькой редьки. Насчет запланированного ремонта, перерасходов уже намекали — так, между прочим, за обедом в кают-компании. А на вторую зимовку людей оставить дешевле? Это как и что считать. По деньгам, может, и дешевле, а вы мне скажите: сколько стоит месяц полярной тоски? Я-то знаю, сколько: один год жизни. И Семенов знает и Гаранин, они не в вертолет — в закон верят. Жаль, что старые полярники, хранители закона, понемногу расстаются с высокими широтами — естественная убыль, а молодежь

избалована техникой, уж слишком верит в ее всемогущество. Коля Белов с чьих то слов рассказывал, что Чкалов то ли в шутку, то ли всерьез бросил; «Авиация кончается с теплым туалетом». Пошутил, наверное, но все равно здорово сказано. Прошлого не вернешь, но как то обидно, что дороги, на которых гибли первопроходцы, для нынешней молодежи пустяк: похрапывают в самолете, даже вниз лень взглянуть...

Ладно, молчу, разворчался, старый хрыч, молодежь ему, видишь ли, не угодила. В том, что нам за пятьдесят, но молодежь виновата, друзья мои...

Ох, Серега, Андрей, знали бы вы, каково мне сейчас...

Самойлов погасил сигарету, кивнул Лосеву и направился в радиорубку. И оттуда в эфир понеслось:

— Дизель электроход «Обь» вызывает станцию Лазарев, «Обь» вызывает Лазарев, Самойлов просит Семенова, прием...

БАРМИН

Уже несколько дней бушует пурга, и мы, как пришипленные жуки, торчим в помещениях под толщей снега.

На третий день я открываю великую истину: высшее благо, дарованное человеку природой, — это сон. В забвении человек всемогущ: он побеждает страдание и обретает крылья; ни волшебная лампа Аладдина, ни философский камень не делают человека таким богатым, сильным и счастливым, как это делают сновидения. А главное, сон, как ничто другое, убивает время. Супермен будущего, которому сон заменяют таблетки, вызывает у меня жалость: этот несчастный лишится иллюзий, блаженных часов отрешения от жизни. Он никогда не поймет мудрости прекрасных слов поэта: «Я б хотел забыться и заснуть...»

Тихо забившись в свой угол, я продолжаю размышлять. Мы сидим в кают компании, каждый из нас вроде бы занят своим делом, но это лишь видимость: наши уши, как локаторы, настроены на доносящуюся из радиорубки морзянку.

— Пи пи пи! — Веня подходит к двери радиорубки, прислушивается. — Костя, о чем пишит морзянка?

Костя Томилин делает вид, что не слышит. Он уже целый час выводит аршинные буквы на клеенных в длинную ленту синоптических картах.

— Док, — Веня с заговорщическим видом кивает в сторону Томилина, — выжми из него расшифровку.

Для таких натур, как Веня, бездеятельность — смертная мука. Один маломощный дизелек на трех механиков — насмешка над Веней Филатовым, которого распирают молодость, сила и неутолимая жажда деятельности.

— Костя, голубчик, — проникновенно говорю я, — ты же известная полярная сирена, очаруй «Обь», примани ее к нашему пустынному берегу своей сладкозвучной морзянкой!.. О чем они там, Костя?

Томилин многозначительно молчит. Они, радисты, хорошо воспитаны, разглашать эфирные новости имеет право только начальник.

— Тайны мадридского двора! — Разочарованный Веня прижимает к себе гитару, берет аккорд.

Так что вы не беспокойтесь, Климат здесь вполне хороший.

То, что я забыл галоши, Вас тревожить не должно.

И добавлю, что к тому же Зонтик тоже здесь не нужен, Потому что видел лужи Я последний раз в кино...

Я люблю, когда Веня поет. Не столько потому, что мне так уж нравится его исполнение, сколько потому, что па это время он целиком погружается в себя и перестает цапаться е Дугиным, что всем уже надоело.

— Фонтан иссяк? — Костя откладывает карандаши и удовлетворенно смотрит на им же созданное произведение искусства. — Помоги повесить, бард. У тебя кнопки, док?

Мы вешаем на стену плакат:

ДО ПРИБЫТИЯ «ОБИ» ОСТАЛОСЬ «О» ДНЕЙ

— Женька, подай красный карандаш, — не слезая с табурета, просит Дугина Веня. — Здесь вкралась опечатка.

— Испортишь! — пугается Томилин. — Какая там опечатка?

Веня зачеркивает ноль и ставит над ним жирный вопросительный знак.

— Пожалуй, правильно, — оторвавшись от книги, замечает Груздев. — Пятый день сплошные вопросительные знаки.

— Пробьется, — весомо говорит Дугин.

— Когда — вот в чем вопрос, — с гамлетовским скептицизмом изрекает Груздев.

— А чем нам плохо? — с той же весомостью продолжает Дугин. — Живем не в балке, а в теплом доме, и, главное, суточные опять же идут.

Груздев смотрит на него с затаенной насмешкой.

— Удовлетворяйся малым, — бормочет он, — и крохи большого будут для тебя счастьем.

— Че го? — не понимает Дугин.

— Это я так, про себя.

— Георгий Борисович говорит, что ты очень умный, — разъясняет Веня и, намеренно заглушая ответ Дугина, проводит пальцами по струнам.

Надеюсь, это краткое письмо Вам сократит и скрасит ожиданье.

Но срок придет, и в виде эскимо Я к вам вернусь, как прежде, на свиданье...

Наблюдать людей — моя профессия, я все таки врач. Будь я с вами менее откровенен, то сказал бы «наблюдать и лечить», но лечить я не очень то умею. Нинина бабушка, к примеру, с трудом расписывается за пенсию, но куда лучше меня лечит простуду и радикулит, а старик фельдшер, с которым я три года проработал в заштатной больнице, втихаря советовал больным выбрасывать все лекарства, кроме аспирина и валерьянки, потому что был абсолютно уверен, что одновременно преодолеть болезнь и наносимый лекарствами вред организм человека не в состоянии. Вот вырезать грыжу, обработать рану или срастить кость — другое дело, здесь я кое чему научился, но вылечить, скажем, насморк — прошу прощения, ждите, пока пройдет сам собой. Поэтому я считаю, что моя профессия — наблюдать людей, чтобы по совокупности мелких признаков понять, к какой болезни они предрасположены, и по мере надобности с ученым видом знатока изрекать истины.

Вот, например, Груздев. Врач ему понадобится через сто лет — констатировать угасание этого будущего долгожителя. В тридцать четыре года у него сердце и легкие юноши, нервная система и аппетит совершившего очередной подвиг Геракла. Он,

безусловно, умен, но раз и навсегда замкнулся в собственном «я» — мирке, который только один и интересуется его. Не знаю человека, который был бы допущен в эту «святая святых»; о чем думает Груздев, что его волнует и в какой степени, известно лишь ему одному. Я тоже бываю в восторге от собственного общества — на часок — другой, большего мне не вынести, а Георгий Борисович даже в переполненной кают — компании находится наедине с самим собой, и все мы интересуем его постольку, поскольку являемся неизбежными атрибутами его мирка, он просто привык к нам, как привыкают к старому дивану, дедовским ходикам и настольной лампе с треснувшим абажуром. Он по — своему порядочен, честен и старается никого не обидеть и не унижить; он из тех, кто испытывает отвращение к подлости и не любит грязи, хотя по — мужски в меру циничен; он безупречный работник. Но, бьюсь об заклад, Николаич больше зимовать с ним не будет. Почему? Л потому, что присутствие Груздева создает напряжение. Он в скорлупе, в нем есть недосказанность, он ошетилившееся иглами самозащиты воплощенное собственное достоинство. И еще: на станции у него нет друга. Он единственный из всех нас, о прошлом которого мы ничего не знаем.

Веня — другое дело, все его эмоции мгновенно отражаются на его лице.

— Веня, ты можешь петь внутренним голосом, мысленно? — просит Груздев.

— Надоело! — стонет Веня. — На корабль хочу, в тропики! Загорать желаю!

— Ты большой оригинал, детка. — Я глажу Веню по голове. — Но не забывай, что избыток, ультрафиолетовых лучей губителен для организма. Ты зачахнешь, потеряешь аппетит, и вместо тебя домой прибудет твоя мумия.

— Ну и пусть! Лучше буду в музее под стеклом лежать, чем в пургу авралить и трижды проклятый снег пилить. Бра — атцы! Хочу быть мумией!

— Дай ему валерьянки, док, — предлагает Дугин. Из камбуза в белом халате и чепчике высовывается Валя Горемыкин.

— Кто здесь потерял аппетит? Ты, Веня?

— Это док считает, что над моим пищеварением нависла грозная опасность.

— Зря. С таким желудком, как у тебя, можно до ста лет жить на сухом пайке.

Хочешь жареной картошки?

— Шеф! — Веня молитвенно протягивает руки. — Ты один меня понимаешь!

Горемыкин удовлетворенно хрюкает.

— Тогда марш на камбуз чистить картошку!

— Совести у тебя нет, шеф... Так и быть, после полдника.

Дверь радиорубки перекосилась, отчетливо слышна морзянка. Томилин играет в шахматы с Дугиным, но по тому, как он оставляет под боем коня, я догадываюсь, что мысли его там, в радиорубке. Он уже знает, о чем идет разговор. Если еще пойду зимовать, обязательно изучу азбуку Морзе.

В кают — компанию входит заспанный Пухов. Не по — христиански, но я доволен, что мы его разбудили: полночи его чудовищный храп приводил меня в исступление. Говорят, что от него именно из — за храпа ушла жена, но я не склонен принимать эту версию: убежден, что самая несчастная женщина предпочла бы горькое одиночество супружеской жизни с таким беспросветным нытиком и пессимистом. А в том, что за Пухова дерутся все начальники станций, никакого парадокса нет: лучшего аэролога в высоких широтах, говорят, никогда не было.

— Дали бы людям поспать, — брюзжит он. — Делать вам нечего, развели базар!

— Вальс, фокстрот? — деловито спрашивает Веня, настраивая гитару.

— Антарктический вальс, — заказываю я, обнимая Пухова. Он вяло сопротивляется, так как хорошо знает, что танцевальная разминка закончится не раньше, чем из него будут вытряхнуты остатки сна. На картину пробуждения Пухова обычно сбегаются смотреть все свободные от вахты. Веня или Костя аккомпанируют, а от меня требуется лишь водить «партнершу» и всякий раз менять сопроводительный текст нравочений.

— Ах, Пухов, Пухов! — декламирую я, кружась в вальсе. — Когда же вы, наконец, проснетесь и станете человеком?.. Не наступайте на ноги, Собакевич вы этакий!.. Длинноногие загорелые примы уже вглядываются с тоскою в горизонт — где же, когда же появится волшебный корабль с героическим Пуховым на борту? А вы все ворчите... Какие заманчивые у вас перспективы, Пухов, какие волнующие возможности! Веня, темп!

— Отпустите, — клянчит Пухов, — я старый человек, у меня ишиас.

— Да разве ишиас помеха для любви? — Я делаю такой пируэт, что раздаются аплодисменты. — Ишиас украшает мужчину, свидетельствуя о ранних страстях и бурной молодости. Смелее, Пухов!

— Стыдитесь, доктор! — отбивается Пухов. — У меня незапятнанная трудовая книжка!

Я с разочарованным видом усаживаю Пухова на скамью,

— Любовь прекрасной женщины — и трудовая книжка... Нет, вы неисправимы, Пухов...

Груздев захлопывает книгу. Догадываюсь, он намерен сделать мне внушение.

— Доктор, — начинает он, — я давно хотел вас спросить: почему вы стараетесь все время острить? Свойство характера, душевная потребность или просто считаете своим медицинским долгом? Так сказать, ионизируете воздух, оздоравливаете микроклимат нашего небольшого, но спаянного коллектива?

— Как вам сказать, Георгий Борисович...

— Лучше всего откровенно.

— Видите ли, я с малых лет не люблю простоквашу.

— Ну и что? — Груздев озадачен.

— Рядовое наблюдение: еще в детстве я заметил, что одно лишь присутствие нытика необъяснимым образом влияет на молоко: оно скисает. Ну и, помимо того, в народе считают, что даже среднего качества остроты содержат витамин С.

— Я бы, с вашего разрешения, предпочел цингу.

— Не разрешу! Мне за то и деньги платят, чтобы я доставил вас домой здоровеньким и краснощеким. И я поклялся своим дипломом, что так и будет.

Пухов качает головой:

— Кому сейчас только не выдают дипломы... Не обижайтесь, Саша, доктор вы хороший, но солидности в вас, простите, маловато. Доктор должен быть окружен таинственностью, внушать трепет. Я вот помню одного врача, К которому мальчишкой ходил. Воротничок — белоснежный, пенсне — золотое, голос — шалыпинский бас! Величия был мужчина необыкновенного. Взглянет этак сверху вниз — и ты уже дрожишь и выздоравливаешь. А вы? То ли вам, Саша, штангу толкать, то ли в одиночку на собаках Антарктиду покорять. Как вы считаете, Георгий Борисович?

— Я думаю, что для Александра Васильевича еще не все потеряно. Если он купит себе пенсне...

Пухов посмеивается, довольный: ему кажется, что он отомстил за вальс. А мне

только того и надо. Груздев — он умен, как бес, насчет микроклимата он сказал точно, Мне чертовски нужно, чтобы люди вокруг улыбались, мы пятые сутки в подвешенном состоянии, я сам готов зареветь белугой!

Слышится и снова затихает рокот дизеля.

— Иван из дизельной вышел, — догадывается Веня. — Сейчас зайвится и сообщит народу: «Здоровеньки булы. Щец от обеда не осталось рабочему человеку?»

Сто раз было, но все замирают в предвкушении. Мы не телепаты, мы просто знаем друг друга, как облупленных.

В кают-компанию, вытирая руки ветошью, входит Нетудыхата.

— Здоровеньки булы. (Веня радостно раскрывает рот.) Щец бы похлепать рабочему человеку... Вы что, сказались?

Мы самозабвенно хохочем, даже Груздев на мгновение забывает про свое достоинство и беззвучно смеется. Но тут из спальни доносится долгий и тяжкий кашель. Смех мгновенно стихает.

В кают-компанию, сутулясь, входит Гаранин. Он приветливо улыбается нам, и мы улыбаемся ему. У меня сжимается сердце, мне кажется, что я вижу то, чего не видят другие. Гаранин прислушивается к пisku морзянки, спрашивает у Томилина:

— Самойлов? Томилин кивает.

— Сон видел, — щурясь от яркого света, с улыбкой сообщает Гаранин. — По моему, даже цветной... Будто я в парке культуры на чертовом колесе катаюсь, вверх-вниз, вверх-вниз. А внизу вся наша полярная братва собралась, все смотрят на меня, торопят: «Наша очередь!» Жена смеется, пальцем грозит: хватит, мол, слезай. А колесо не останавливается, вертится и вертится... Ерунда, чушь какая-то. Что, чай пить будем?

Картинка детства: во дворе нашего старого дома рос могучий дуб, говорили, что ему триста лет. Я возненавидел его после того, как засохла рябинка, которую посадил недалеко; мне казалось, что этот дуб — эгоист и убийца, он высасывает из земли все соки, чтобы жить вечно за счет других. Не знаю, насколько глубоко это детское впечатление повлияло на мой душевный склад, но бывает, что я стыжусь своего здоровья, мускулов, избытка жизни... И тогда я глупо мечтаю о том...

Еще одно признание: я вообще люблю мечтать. Ну, конечно, обнять Нину — увы, это неоригинально, все мечтают о таком; приласкать, потискать Сашку, своего тезку, ему уже тринадцать месяцев, а я его еще не видел — тоже не бог весть какая игра воображения; но вот уже второй месяц, как я, оставаясь наедине с самим собой, глупо мечтаю о том, что сотворю чудо. Вот в чем оно заключается: организм человека достигает совершенства обыкновенного примуса, и можно будет переливать часть своих сил товарищу, как из одного примуса в другой переливают керосин. И тогда Андрей Иванов перестанет таять на глазах! Я горячо мечтаю об этом чуде, и пусть тот, кто сочтет, что я прекраснодушный глупец, держит свои мысли при себе.

— Почему чай? — прерывает неловкую паузу Веня. — По агентурным данным, у отца-командира имеются в заначке две бутылки коньяку. Андрей Иванович, поддержите ходатайство коллектива!

— А уговор? — улыбается Гаранин, садясь за стол. — Тому, кто первым увидит «Обь».

— Ну, первый, ну, второй... Будем считать, что все сразу вместе увидели, — вдохновленный своей идеей, настаивает Веня. — «Обь» — то рядом, не сегодня-завтра подойдет, зачем такое удовольствие откладывать?

— Никогда не откладывай на завтра то, что можно сделать послезавтра, — вставляю я и, увидев, что Груздев раскрывает рот, поспешно добавляю: — Не мое, Георгий Борисович, Марка Твена.

— Раз Николаич сказал: «Тому, кто первый увидит», — так и будет, — возвещает Дугин. — Чего суетишься?

— Как же ты, Дугин, начальство любишь, ну, просто неземной любовью, — восхищается Веня. — И оно тебя, со взаимностью. Тебя, говорят, еще в родильном доме главврач уважал безмерно!

— Веня, смени пластинку, — морщится Гаранин.

— А, пусть, — равнодушно роняет Дугин. — Чем бы дитя ни тешилось...

Не сговариваясь, все смолкают как по приказу: это прекратилась морзянка. Мы, не отрываясь, смотрим на дверь, нам совершенно ясно, что разговоры, которые шли до сих пор, — ерунда, а главное нам сейчас скажут.

Из радиорубки выходит Николаич, за ним Скориков. Их лица непроницаемы, напрасно мы пытаемся прочесть на них долгожданные новости.

— Слетелись, как мотыльки на огонь, — обмениваясь взглядом с Гараниным, шутит начальник. — Что, все собрались?

— Валя! — кричит Веня, — С вещами на выход!

Из камбуза выбегает Горемыкин.

— Чай подавать, Сергей Николаич?

— Кажется, нам будет не до чая, — пристально глядя на Семенова, пророчествует Груздев.

— Все в Кассандру играете? — Николаич усмехается. — Дела обстоят так. «Обь» пробилась вперед и находится от нас в ста десяти километрах.

— Что я говорил?! — бурно восторгается Веня. — Старушке «Оби» гип-гип... ура!.. Чего вы?

На Венин призыв никто не откликается.

— Это пока все, что моряки смогли сделать, — продолжает Николаич. — Между нами сплошной и торосистый десятибалльный лед. Припай унесло, но путь «Оби» преграждает ледяное поле шириной в десятки километров. Фактически за пять дней ледовая обстановка не изменилась. Теперь уже ясно, что через это поле «Обь» пробиться не может.

— Что значит «не может»? — повышает голос Пухов. — Она должна, обязана пробиться!

— Даже ценой своей гибели? — тихо спрашивает Гаранин.

Пухов хочет что-то сказать, но беспомощно машет рукой. Груздев усмехается. Кажется, он прав, нам действительно будет не до чая.

— А как же мы? — Нетудыхата растерянно приподнимается. — Как же мы?

— Черт бы их побрал! — взрывается Веня. — Это как понимать, отец-командир, второй год подряд зимовать, что ли?

— Я еще не закончил, — резко обрывает его Николаич. — Выход все-таки найден. На Молодежной законсервированы самолеты, один ЛИ-2 и две «Аннушки». Капитан Самойлов и летчики, находящиеся на борту «Оби», решили возвращаться на Молодежную, чтобы эвакуировать нас по воздуху.

— Но ведь это тысяча пятьсот километров в один конец! — вырывается у Пухова. — В лучшем случае неделю ждать...

— Везучий ты, Веня, как паровоз! — сокрушается Веня.

Я искоса смотрю на Гаранина. Внешне он совершенно спокоен, одобрительно кивает и улыбается, но представляю, что творится у него на душе. Только он знает настоящую цену этой лишней недели. И меня охватывает бессильная ярость. Я готов второй, третий год подряд торчать в этих проклятых снегах, лишь бы Андрей Иванович сегодня, сейчас оказался дома!

— Обстоятельства пока сильнее нас, друзья, — успокаивает Николаич. — Оставшиеся дни нужно использовать для дела. Я имею в виду научные и прочие отчеты — их следует готовить уже сейчас, на корабле будет много соблазнов: солнце, бассейн, кинофильмы... Если вопросов больше нет, будем пить чай.

— Какие уж тут вопросы! — уныло произносит Пухов.

СЕМЕНОВ

«Здравствуй, Веруня, дорогая! Две недели тебе не писал, а сейчас выдался свободный часок, и сажусь за „роман в письмах“, как Андрей называет мой гроссбух. Вот заполню последнюю дюжину страниц — „и летопись окончена моя“. Сколько у тебя уже таких гроссбухов? Если не ошибаюсь, семь?

Ну вот, дружок, кончается год нашей разлуки, еще один год из тех, что я провел вдали от тебя. Десять дней назад мы отсалютовали Новолазаревской и уже неделю живем здесь, на береговой станции. «Обь» к нам не пробилась, ушла в Молодежную, где законсервирован ЛИИ-2, и скоро я надеюсь обнять Колю Белова, который за нами прилетит. Год — срок немалый, даже для таких испытанных разлукой ветеранов, как мы с тобой. Что уж тут говорить о моих ребятах! Все они живут Большой землей, спят и видят ее, только ее одну. Тебе я могу признаться, что тоже радуюсь, как мальчик, скорому свиданию с Родиной, с теплом, с тобой и нашими галчатами. Это, надеюсь, мое последнее письмо из Антарктиды, и слова, которые я весь год хотел тебе высказать, я не могу, не хочу доверить даже этой бумаге. Я скажу тебе их сам, глаза в глаза.

Я устал от зимовки, от постоянной, изо дня в день, борьбы и тревоги. Уверен, ты улыбнешься и скажешь: «Не обманывай себя, Сергей, тебя завтра снова потянет туда». Не знаю. Сейчас я мечтаю лишь о том, чтобы оставить Антарктиду за горизонтом. На Востоке она донимала нас стужей и горной болезнью, здесь — тысячу раз проклятой пургой. Тебе трудно будет понять, ты сочтешь это за красоту, но многие полярники, и среди них такой «холодный рационалист» (так обозвал меня Груздев), как твой муж, верят, что у Антарктиды есть живая душа. Ну, вроде мыслящего океана у Лема. Пребывая миллионы лет в своем постылом одиночестве, Антарктида привыкла к нему и карает каждого, кто осмеливается его нарушить. Одних прогоняет, других губит, а третьих, самых живучих, заставляет прятаться, как кротов. Будто поклялась — любой ценой сохранить первозданный рельеф и ослепительно белый цвет; чуть замечает посторонний, режущий глаз предмет — посылает пургу, пурга не справляется — бросает в бой ураган: разбрасывает, сметает в море, засыпает снегом и втягивает в себя, как болото.

Ты знаешь, я не жалуясь и не выжимаю слезу, это чтобы ты лучше поняла, как мы сейчас живем. Дом, который построили первые зимовщики Лазарева, на поверхности шельфового ледника пробыл недолго: его в считанные недели занесло, а к концу зимовки упрятало на несколько метров в толщу снега, как дома в Мирном. Выбираться

на свежий воздух приходится через прикрытый щитом лаз, но зато никакой ураган нам не страшен, его свист и рев даже не доходят до помещений. Первые дни было сыро, но сейчас хорошенько протопили, подсушили стены и живем в тепле и в уюте. Мы с Андреем, как всегда, вместе, ребята — в двух спальнях. Дизель старенький, но пока что тарыхтит, а большего нам и не надо.

Прервался, говорил с Андреем. От воспаления легких он, кажется, избавился, но очень исхудал и ослаб — до того, что нас это пугает. Хорошо, что он вынужден бездействовать: метеоплощадку на неделю — другую восстанавливать нет смысла, сводки мы даем куцые — ветер, облачность да температура, и Андрей волей — неволей отдыхает, лежит и перечитывает книги. По обычаю, почти всю собственную литературу мы оставили на станции и теперь стоим в очереди на пять — шесть книжек, которые ребята захватили с собой. Андрей с упоением читает письма Чернышевского к жене, явно предназначавшиеся для чужих глаз, и я вдруг подумал, что и эти страницы когда —нибудь могут попасть к людям, далеким от нас с тобой. Надеюсь, что этого не случится, а если даже и случится, вряд ли моя скромная особа и более чем скромные мысли кого —нибудь заинтересуют.

Мне кажется, что все подходящие слова уже были высказаны до меня, они написаны в книгах с силой, недоступной одичавшему полярнику, и все, что я напишу, уже когда —то где —то было, а новых слов мне не найти. Что я могу добавить? Мне бывает страшно от мысли, что я тебя когда —нибудь потеряю и вместо тебя появится другая. Мне кажется, что я ее, другую, уже заранее ненавижу. Легче представить обратное: не будет меня. Куда легче! И тогда я, уходя, скажу тебе то, что сказал Пушкин своей любимой Наталье Николаевне: «Отправляйся в деревню, носи по мне траур два года, а потом выходи замуж, только не за шалопая» (не удивляйся точной цитате, выписал из книги).

Ладно, прости мне эти глупые и несвязные мысли. Я давно заметил, что долгая зимовка, огрубляя человека внешне, обостряет его чувства, и то, что на Большой земле кажется немножко старомодным и смешным, для полярника исполнено высокого смысла. В нас, как говорит Андрей, проникает вирус сентиментальности, мы теряем какие —то критерии и видим оставленное нами через розовые очки; мы, быть может, потеряли в широте взглядов, но зато острота наших ощущений усилилась, как у астронома, наблюдающего в направленный телескоп не обширное звездное небо, а одну лишь единственную звезду. Почему? Наверное, потому, что к концу зимовки все наши помыслы собираются в одном фокусе: все существо заполняют навязчивые мысли о доме и семье.

В такой ситуации мой главный враг — время. Мой — потому, что я не могу ни ускорить его ход, ни занять людей делом. Не будь Саши Бармина и Вени Филатова, люди бродили бы по станции, как лунатики. Да, Вени Филатова, я не оговорился. Думаешь, после зимовки на Востоке он чуточку изменился? Нисколько. Помнишь, у Гюго в «Девяносто третьем» был моряк, который не закрепил на борту пушку? Потом, во время шторма, он геройски исправил свою оплошность, но ведь судно все —таки чуть не погибло! Таким был и остается Веня. Из —за того, что он уронил аккумулятор, мы на Востоке могли отдать богу свои души, но тот же Веня сыграл решающую роль в том, что дизель мы все —таки запустили! Новая зимовка — новый фокус: когда на Новолазаревскую с «Оби» прилетела «Аннушка», Веня лихо подъехал к ней на тягаче и бросился обнимать приятеля — бортмеханика, а тягач возьми да поползи к самолету! Секунда — другая — и от «Аннушки» осталась бы груда деталей, но тот же Веня успел

скакнуть в кабину и тормознуть — за мгновение до катастрофы. Словом, каким он был, таким и остался. Верхогляд и растяпа, храбрец и работяга — не я выдумал это сочетание, хотя Веня искренне убежден, что я к нему придираюсь. Он неприхотлив, как солдат, и обидчив, как школьница. «Зато с ним не соскучишься!» — смеется Андрей, его постоянный адвокат. Что верно, то верно. Там, где появляется: Веня, атмосфера быстро электризуется; одних он притягивает, других отталкивает, он весь неукротимая энергия, которой нет выхода на маленькой полярной станции. Он единственный, кто сбивает меня с толку, за год я десять раз жалел, что снова взял его на зимовку, и столько же раз радовался этому. Кипяток, дрожжи! Раза три пытался вызвать его на разговор по душам — тщетно: прячется, как улитка, уходит в себя. Андрей как-то заметил, что Филатов ревнует меня к Дугину; если это действительно так, то контакта мы, пожалуй, и не установим, Женю я не променяю на десять Филатовых, как не променяю костер на бенгальский огонь. Женя был и остается вернейшей, надежнейшей опорой: когда по станции дежурит Дугин, я сплю сном праведника, а когда Филатов — ворочаюсь и нахожу предлог, чтобы заглянуть в дизельную. Они по-прежнему недолюбливают друг друга, и ради Жени, если нам снова суждено зимовать, я Филатова больше не возьму, И еще одного человека не возьму — Груздева. Прошел год, а я знаю его не лучше, чем в первый день знакомства. Локаторщик и магнитолог — каких будешь искать и не найдешь, но нет на станции человека, который мог бы похвастаться тем, что говорил с Груздевым больше пяти минут кряду: собственное общество он предпочитает любому другому, хотя, на мой взгляд, с точки зрения чистого интеллекта и Андрей и Саша Бармин ему по меньшей мере не уступают, не говоря уже о человеческих качествах. Ты знаешь, Веруня, я не люблю циников, и меня всегда коробит, когда человек слишком откровенен в том, о чем не принято говорить вслух. Но если даже Филатову я готов простить шумные разглагольствования о всяких «крошках» и «художественных гимнасточках», то откровения Груздева мне неприятны, хотя они не касаются интимных вещей. Как-то в субботу (ты же помнишь мое правило: спиртное только по субботам, бутылка на троих) ребята за столом разговорились о том, что тянет их в полярные широты. Языки развязались, всякое говорили: Нетудыхата — про деньги, на которые он новую хату батьке поставит, «чтоб на селе красивей не было, из кирпича и под железом», Саша — про нас, своих «клиентов», которых он желает поголовно «ошкерить», и так далее. Груздев же спокойным голосом, каким сообщают погоду, поведал, что с полярной он кончает, так как материал для диссертации он из нее выжал и отныне высокие широты для него подобны жмыху без капли масла. Андрея передернуло, он хотел сказать какую-то резкость, но удержался, я тоже ничего не сказал, но Груздеву я больше не верю, в крайней ситуации каждый из нас может оказаться для него тем самым жмыхом. С тех пор общение с ним я сознательно ограничил служебными делами; впрочем, на мою холодность он никак не реагирует. Костя Томилин, который знает все на свете, слышал, что у Груздева была какая-то несчастная любовь, но это мало что для меня меняет. Мне кажется, что если неудачная любовь делает человека хуже, а не лучше, значит, в его душе есть червоточина и участь свою он заслужил; презирать всех людей только за то, что один из них его, отверг, может только ипохондрик с весьма сомнительными моральными устоями. Куда понятнее Пухов, от которого когда-то ушла жена и который с трогательной наивностью так комментирует это печальное для него событие: «Наверное, характер у меня нудный, кто со мной уживется?»

Дорогая, беседую с тобой, а на душе скребут кошки. В нашем сегодняшнем положении есть что-то от детектива с потерянной последней страницей: нервы напряжены, ждешь развязки, а ее нет; где-то она валяется, найти-то найдешь, но когда? Если «Обь» хотя бы на неделю застрянет во льдах у Молодежной, кое-кто не выдержит. Но кто и как себя поведет?

Андрей снова закашлялся, очень мне не нравится этот кашель...»

ТОМИЛИН

Мы, радисты, чем-то сродни типографским наборщикам: знаем завтрашний номер газеты. И вообще слишком много знаем, куда больше, чем положено рядовому полярнику. И такое это бывает знание, что лучше бы не знать, — одна горечь на душе, и не выплеснешь ее никому: служебная тайна. У Николаича заведено так: раскололся радист, сболтнул — не зимовать тебе больше с начальником станции Семеновым. Вышел из доверия — и точка. Хотя Николаич уже лет десять как стал гидрологом, а не так давно и кандидатом наук, но когда-то сам был радистом и школу прошел хорошую. Не раз вспоминал старика Сироткина, своего наставника со Скалистого Мыса: «Держи мысли на свободе, а язык на привязи!»

Мы сидели в кают-компании, когда Андрей Иванович стал кашлять. Думали, как обычно за последние недели, покашляет с минуту-другую и перестанет, а он не унимался целый час — с хрипом и надрывом, до стога. А потом вышел от него Саша. Посмотрел как-то странно и сказал:

— Сократимся в эмоциях, ребята. Андрей Иванович наконец заснул.

Какие там эмоции, — словно мыши, ребята притихли. Веня только спросил:

— Что с ним, док?

Саша подумал о чем-то, не ответил, и это подействовало на людей хуже любого ответа. Посидели молча и стали расходиться.

А что расскажу дальше — каюсь, подслушал. Кают-компания вымерла, кабинет, он же спальня начальника — за фанерной перегородкой, а слух у меня, как у летучей мыши. Затаял тот разговор Андрей Иванович.

— Сергей, ты не спишь?

— Не спится.

— Хочешь, скажу, почему?

— Ну?

— Ты получил плохое известие.

— Не превращайся в Груздева... Тоже мне ясновидец.

— Тогда закрой свое лицо.

— Это зачем?

— Его можно читать, как газету. Скажу больше: плохое известие касается меня.

— Что ты выдумываешь?

— Я просто логически рассуждаю. Если бы оно касалось тебя или кого-то другого, ты бы со мной поделился. А раз молчишь, значит, речь идет обо мне. Чтобы понять это, много ума не надо. Дай честное слово, что Наташа и Андрейка здоровы.

— Ради бога, Андрей!

— Повторить?

— Честное слово.

— Хорошо...

— Вздремнем, дружище...

— Погоди, теперь все равно не заснешь. Сейчас я буду с тобой жесток и предъявлю неоплаченный вексель. Помнишь, как лет пятнадцать назад нас двоих высадили на Льдину?

— Ну, и какой вексель?

— За нами должны были прилететь через две недели. На третий день ты потерял защитные очки и ожег сетчатку глаз.

— Не надо, Андрей.

— Надо. Я же предупреждал, что буду жесток. Ты ослеп и взял с меня клятву помочь тебе умереть, если зрение не вернется.

— Андрей!

— И я поклялся это сделать, помнишь? Подтверди.

— Да, помню. Глупое мальчишество.

— Тогда это выглядело совсем не глупо. Как бы то ни было, за тобой долг.

— Чего ты от меня хочешь?

— Одной только правды. У меня рак легкого?

— Откуда ты взял, черт возьми?

— А ведь я просил только правды, Сережа. Мне ее необходимо знать, чтобы уберечь тебя от ошибки.

— Какой ошибки?

— Об этом рано.

— Я тебя не понимаю.

— Поймешь потом, поверь на слово. А теперь ответь: у меня рак?

— Надеюсь, что нет.

— Саша тоже надеется?

— Да.

— Хорошо, будем надеяться вместе. Большого я из тебя не выжму, и будем считать, что мы квиты. Теперь о другом. Вот уже несколько дней люди в кают-компании ходят на цыпочках и разговаривают шепотом, а при моем появлении выдавливают из себя мучительные улыбки. Мне это не нравится, я могу подумать, что тяжело болен, и стать мнительным. Между тем чувствую я себя неплохо и в чуткости не нуждаюсь.

Позаботься, чтобы ее никто не проявлял. Это раз. Теперь — что на Молодежной?

— «Обь» пробилась к припаю, утром за летчиками вышлют вездеход. Думаю, завтра, максимум послезавтра Белов вылетит.

— Люди об этом знают?

— Еще нет, радиограмма пришла час назад.

— Подними, их, расскажи.

— Куда торопиться? Пусть отдохнут после обеда.

— Они не спят, они лежат и ждут этой радиограммы, им нужна ясность.

— Хорошо, сейчас соберу.

— Я приду тоже.

— Лучше позову всех сюда.

— Снова? Такая чуткость поддерживает, как веревка повешенного.

— Извини, дружище. Послезавтра ты будешь на «Оби», а еще дней через десять — в больнице ближайшего порта, Или полетишь самолетом в Москву, вместе с Сашей.

— Если не опрокинется тележка с яблоками.

— Какая, к черту, тележка?!

— Не ори, это английская поговорка. Ладно, поживем — увидим. Собирай ребят.

Вот какой был между ними разговор. Не ручаюсь, что передал слово в слово, я не магнитофон, а просто человек с хорошей памятью. Тоскливо мне стало, как всегда бывает перед неотвратимой бедой. И не стало веселее, когда минут через десять Веня заорал: «Гип гип ура!» — и даже пустился в пляс.

— Дугин и Филатов будут на тягачах с волокушами расчищать полосу, — закончил Николаич. — Остальные с кирками и лопатами — на подхвате.

Я бы мог еще рассказать, как радовались ребята и какие слова говорили, но из головы у меня не выходила «тележка с яблоками». Я слышал эту поговорку от американца, что зимовал с нами на Востоке, и помнил, что означает она что-то вроде «нарушить чьи-то планы». И когда Андрей Иванов вдруг поднял руку и попросил внимания, то я понял, что, сейчас что-то произойдет. Что было дальше, запомнилось слово в слово.

— Я — против! — так, что все вздрогнули, сказал он.

— Против чего, Андрей? — удивился Николаич.

— Я имею в виду эвакуацию нас по воздуху.

— Почему же?

— А потому, что ЛИ-2 полторы тысячи километров должен будет пробиваться к нам в одиночку. Судя по метеосводкам из Молодежной и нашим визуальным наблюдениям, погода на трассе плохая. Случись что с самолетом, сядет на вынужденную — и экипаж неминуемо погибнет.

— И что же ты предлагаешь, дружище?

— Отказаться от самолета и остаться на вторую зимовку.

ИЗ ЗАПИСОК ГРУЗДЕВА

Прошедшую неделю я спал скверно и коротал дни с головной болью, Можно было бы попросить у Бармина таблетки, но он не упустил бы случая отточить на мне свое остроумие. Нынче» у докторов мода сваливать причины всех недомоганий на нервную систему, так им легче объяснить свою беспомощность. Впрочем, нервы мои и в самом деле распустились, потому что из всех жизненных передряг, в которых волей-неволей оказывался, труднее всего я переношу беспомощное ожидание. Я давным-давно зафиксировал, что самое сильное нервное напряжение испытываю тогда, когда жду крутого поворота судьбы: нарушается сон, цепенеет мозг, а нервы натягиваются с такой силой, что, кажется, от неосторожного движения могут лопнуть, как перепревшие нитки. В это время меня лучше не трогать — могу ляпнуть такое, что потом самому будет стыдно.

Но стоит повороту свершиться, пусть самому скверному, как на меня нисходит абсолютное спокойствие — не показное, а подлинное спокойствие человека, признающего всемогущество судьбы и умеющего подчиняться обстоятельствам. Я не принадлежу к везунчикам, на которых работает случай, от него, наоборот, жду одних только неприятностей и потому выработал иммунитет. Это не значит, что я не умею постоять за себя, отнюдь нет; утопая, я хватался бы за соломинку, как всякий другой, но если жизни моей и человеческому достоинству ничто не угрожает, я смиряюсь, как

смиряться со своей бедой попавшая в водоворот щепка: авось куда-нибудь вынесет. И не отравляю себе существование догадкой, что я достоин лучшей участи: а почему, собственно говоря, лучшей? Настоящего призвания к науке у меня нет, с женщинами флиртовать не умею и не хочу, литературным даром, как выяснилось, не наделен — стишки писал прескверные. Так что жизнь мне отмерила то, что положено, не больше и, надеюсь, не меньше. Правда, бабушка так не считает, она уверена, что ее Гошенька самый хороший и самый умный, а что бобылем живет — ее вина: впустила в дом вора, укравшего Гошенькино счастье. Лично я разделяю мысль, что «добродетель, которую нужно стеречь, не стоит того чтобы ее стерегли», хотя в иную бессонную ночь готов подвергнуть эту мудрость сомнению.

Я отвлекся, а события между тем приняли столь неожиданный оборот, что объективно оценить их может только сторонний наблюдатель. Обычно, когда страсти бушуют, я предпочитаю молчать; в страстях нет логики, они опустошают, не давая ничего взамен, и чем быть пассажиром попавшего в шторм корабля, куда спокойнее отсиживаться в тихой гавани. А сейчас не смог — говорил же про натянутые нервы.

Прошу поверить, что я чего-то ждал. Не скажу, что грома среди ясного неба, но кожей чувствовал, что добром это дело не кончится. И вот почему.

Неудача «Оби» и уход к Молодежной сами по себе породили сомнение: я всей душой хотел, но уже не мог поверить в благополучный исход. Мне казалось, что перед нами разыгрывается банальная пьеса, постановщик которой лезет вон из кожи, чтобы выдумать очередной акт, хотя преотлично мог бы поставить точку и опустить занавес. И даже тогда, когда Семенов возвестил, что за нами вот-вот прилетят, внутренний голос присоветовал мне не верить. Хотя нет, внутренний голос был потом, а сначала я увидел лицо Томилина.

Он тоже не верил! Он, радист, который раньше Семенова знал, что Белов собирается вылетать, явно в это не верил! И смотрел он не на Семенова, а на Гаранина, будто ему было известно, что настоящую правду знает именно Гаранин, а то, что говорит Семенов, не имеет значения.

И тогда я стал тоже смотреть на Гаранина.

Он был очень худой и спокойный. Свитер, еще недель пять назад туго обтягивавший его сильное тело, был словно с чужого плеча. Пробитые сединой волосы еще больше оттеняли нездоровую бледность его лица с резко обострившимися чертами. Но глаза... Не приходилось ли вам видеть глаза роженицы? Из них уже исчезла мука, они просветленные, необыкновенно чистые, как у девы Марии на картинах старых итальянских мастеров. Такие глаза были у Гаранина. У разных людей, как бы они ни пытались это скрыть, можно угадать во взоре властность или жестокость, равнодушие или самодовольство, похоть или еще какой-нибудь порок; глаза Гаранина всегда поражали меня совершенной чистотой. Если бы я был художником и писал его портрет, то попробовал бы так изобразить эти глаза, чтобы они излучали ум, доброжелательность и сострадание. Это раньше, а сегодня я добавил бы еще один штрих: его глаза видят то, чего мы еще не видим, — бесконечность. Никто из нас не сомневается в том, что он очень болен. Мне будет жаль его, нынче идеалисты встречаются редко, они живой укор таким приземленным субъектам, как все мы. Друзьями мы не были и не могли ими стать: слишком по-разному смотрели на людей, но Андрей Иванович — единственный человек, которому бы я мог исповедоваться, как бабушке, когда она говорила: «Гошенька, твоя боль мне». Я не завидую ему, быть бы

таким не хотел, ибо гаранинской склонности к самопожертвованию не испытываю; из всей легенды о Данко самым убедительным для меня было то, что на его, сердце кто-то наступил. И, кроме того, мне всегда казалось, что люди склонные к самопожертвованию, порой позволяют себе жертвовать другими — из самых лучших, на их взгляд, и благородных побуждений. И хотя Андрей Иванович скорее всего не таков, идеала в нем для себя не вижу. Он и заболел — то потому, что жертвовал: переобул в свои унты провалившегося в воду Нефедова и бежал до станции в одних носках. Нефедов что, он и думать забыл о том случае, преспокойно зимует себе на Новолазаревской...

Предчувствие редко меня обманывает. Я смотрел на Гаранина и ясно читал в его глазах сострадание. Только Томилин и я понимали что, и когда грянул тот самый гром среди ясного неба, для нас обоих в нем не было неожиданности. Но люди словно окаменели. И самое странное — Семенов, он явно был потрясен не меньше других. Игра? Вряд ли, Семенов человек прямой, лицедейство не его стихия.

Первым опомнился Веня. Он человек непосредственный, тормозная система у него примитивная, и говорит Веня Филатов то, что думает, или, вернее, то, что сию секунду приходит в голову.

— Чтоб меня разорвало... Вы всерьез, Андрей Иваныч?

— Куда серьезнее, Веня, — ответил Гаранин. — Такими вещами не шутят.

Веня, конечно, завелся и стал искать правды.

— Получается, что летчики — они первого сорта, а мы второго? На нас, выходит, чихать? Им — домой, а нам сидеть, как гвоздям в стене?

— Как же так? — Нетудыхата втянул голову в плечи; и заморгал. — А моя младшенькая у школу идет...

Пухов так разволновался, что только втягивал в себя воздух и ничего не мог сказать.

— На вторую зимовку? — Валя Горемыкин запустил пятерню в шевелюру. — Овощей — то у меня кот наплакал, на две недели картошечки, Николаич. Да и мяса одни консервы, и чай — кофе...

— Вы скажите, Сергей Николаич, — предложил я Семенову, который быстро овладел собой и сидел с каменно — непроницаемым лицом. — При всем моем уважении к мнению Андрея Ивановича решает все — таки начальник станции.

— Как это решает? — испугался Пухов. Когда он волновался, у него краснела лысина; над этим всегда смеялись, а сейчас никто не улыбнулся. — Мало ли кто что захочет сказать? Наша зимовка окончена, и все мы имеем право голоса наравне с бывшим начальником!

— А ведь вы старый полярник, Евгений Павлович, — холодно проговорил Семенов. — Бывшим я стану только тогда, когда вы войдете на причал Васильевского острова. А пока, нравится вам или нет, придется подчиняться.

— Вы меня не поняли, — засуетился Пухов. — Я, извините, говорю в том смысле...

Пухов воробей стреляный, зимовал еще с довоенных времен, а невезунчик: в начальники не выбился, авторитетом, как говорится, не пользуется. И читал побольше всех нас, и живопись, музыку знает, и умом бог не обидел, а слабоват характером, что ли. Нашел на кого хвост подымать — на Семенова, который и не таких обламывал.

— В смысле, в смысле! — взорвался Веня. — Поклоны отбивай, ножкой шаркай, какого черта?!

— Веня, не возникай! — прикрикнул Бармин.

— Да какого черта...

— Настаиваю на своей просьбе, — напомнил я.

— Не узнаю вас, Груздев. — Семенов одарил меня ледяной улыбкой. — Вы бываете более точны в выражении своих мыслей. Разве на просьбе можно настаивать?

В другое время я бы с ним поспорил о терминах, но мне не хотелось давать ему передышки.

— Так каково же ваше мнение, Сергей Николаевич?

— Я думаю над предложением Гаранина.

— Значит, оно для вас было неожиданным?

— Вы намекаете на то, что мы сговорились? — с упреком спросил Гаранин.

— Намекает, Андрей, намекает. — Семенов пронзительно взглянул на меня, но я глаз не отвел, пусть думает, что хочет. — Мог бы вам не ответить, Груздев, но все же таки отвечу: абсолютно неожиданным. Это имеет для вас значение?

— В общем да, — подтвердил я. — Не хочется, знаете ли, ощущать себя... винтиком.

— Точно, — буркнул Веня. Он хотел было сказать еще что-то, но Бармин предупреждающе сжал его руку.

— Люди ждут твоего решения, Николаич, — хмуро сказал Скориков.

Семенов встал и прошелся по кают-компании. Все молча провожали его глазами.

— Андрей Иванович прав. От самолета нужно отказаться.

— Но почему? — простонал Пухов. — Это же, извините, чудовищно! В Арктике мы раньше и не видывали, чтобы самолеты летали парами. Я могу привести сто примеров, когда нас выручали именно отдельные самолеты!

— Действительно, это так, — согласился Гаранин. — Может быть, именно поэтому, Евгений Павлович, мы потеряли Амундсена и Леваневского с товарищами.

— А когда Перов спасал бельгийцев, — не сдавался Пухов, — он тоже летел в одиночку. И не полторы, а тысячи три километров! И, напомним, ничего с ним не случилось!

— Пример не совсем удачный. — Гаранин покачал головой. — Бельгийские полярники погибали, по расчетам у них кончилось продовольствие, их обязательно нужно было спасать.

— К тому же в Мирном был еще один самолет. — Семенов перестал ходить, сел на место, и по выражению его лица мне стало ясно, что решение он уже принял. — Перов знал, что тыл его обеспечен. Теперь же ситуация иная. Случись авария — и Белову не поможет никто: ни бог, ни царь и не герой. Имеем ли мы право позволить летчикам рисковать жизнью? Это единственный вопрос, на который следует дать ответ.

— Дело ясное, — легко согласился Дугин. — Не имеем — и точка.

До сегодняшнего дня я Дугина не любил. Отныне я стал его ненавидеть. Совершенно не выношу людей, которые превращаются во второе «я» сильного.

— Это жестоко. — Голос Пухова задрожал, и мне стало его жалко. — Веня прав, мы для вас люди второго сорта.

— Жестоко?! — Веня рывком освободился от Бармина. — Не жестоко, а чушь собачья! Какого черта я должен торчать в этом склепе еще целый год? Дудки! Лететь, видишь ли, одному самолету опасно! За эту опасность они хорошие деньги получают!

— Но ведь действительно опасно, — тихо сказал Гаранин. — Подумай об этом, Веня.

— А я что — не думаю? Думаю, Андрей Иванович, да так, что голова пухнет!

— Тоже мне мыслитель! — фыркнул Дугин. — Полным полна кают компания воплей и визга. Таких только попроси какуюнибудь жертву принести... А если они побьются — спокойно спать будешь, мыслитель?

— Жертву?! — Веня вошел в раж, затряс кулаками. — Геройство тебе нужно, сукин кот? Как с дизелями на Востоке... когда чуть не откинули копыта? Сколько раз геройством чьюто дурь затыкали! Гденибудь стройка идет, а люди зимуют в палатках — стальные ребята! — и все потому, что какие то остолопы домиков вовремя не завезли! Так, братва? Вот я и спрашиваю: какого черта я должен «урря!» кричать и вторую зимовку геройствовать изза какого то дяди, который не дал запасных лопастей для вертолета? У меня годы считанные, может, у кого они лишние, а у меня нет...

Веня махнул рукой и затих. На этот раз всеобщее сочувствие было на его стороне, я даже мысленно ему заплодировал.

— А знаешь, Веня, ты вообще то прав, — вдруг сказал Гаранин, и все, даже сам Веня, растерялись. — Любим мы свои недоделки громкими слонами маскировать... Взяли, ребята, еще разок, эх, дубинушка, ухнем... Здесь ты прав, Веня. Только не ты один, друг мой, время считаешь. Ты вот на годы, а...

Гаранин осекся, ему стало мучительно неловко за недосказанный аргумент, который мы могли воспринять как «удар ниже пояса». Всем стало не по себе.

— Можно мне? — спросил Бармин. Я то удивлялся, чего это он молчит, хотя главный козырь был у него на руках. Видимо, док просто созрел.

— Говори, — кивнул Семенов.

И снова стало тихо. Бармин менялся в лице; наверное, ему трудно было говорить то, что он собирался сказать. Семенов хмуро и выжидательно смотрел на него, он то понимал, что Бармин не какойнибудь Дугин и слова его для ребят много весят.

— Твои, Николаич, и Андрея Иваныча аргументы убедили меня лишь наполовину.

— На какую половину?

— На ту, которую пролетит ЛИ 2.

— Говори без шарад.

— Постараюсь. Половину пути, от Молодежной до Лазарева, летчики будут рисковать своей жизнью одни. Однако на обратном пути этот риск с ними разделим мы.

— Это все?

— Нет, не все. Предлагаю, Николаич, играть в открытую игру, обе стороны должны иметь равные шансы. В истории с бельгийцами Перов пошел на риск потому, что люди погибали. У нас же, ты считаешь, ситуация иная: и крыша есть над головой и голод не грозит. Так?

— Продолжай.

— Однако, — я ни разу не видел Бармина таким серьезным, совсем другое лицо, — Белов не знает, насколько плохи наши дела. Он должен об этом узнать, и тогда он сам, без наших подсказок, решит, имеет ли право на риск!

— Узнать — о чем? — спросил затуманившись Семенов, хотя мог бы об этом не спрашивать.

— О том, что на станции есть... человек, нуждающийся в срочной эвакуации!

— Кого ты имеешь в виду, Саша? — спокойно спросил Гаранин. — Если меня, то зря. Мне уже значительно лучше.

— У меня осталось шесть ампул пенициллина, Андрей Иваныч! — горячо возразил Бармин. — У меня нет рентгеновского аппарата, даже горчичники, обыкновенные

горчичники на исходе. Я не умею хроническое воспаление легких лечить заклинаниями!

— Ну и наговорил ты, Саша. — Гаранин укоризненно улыбнулся. — Мой кашель вот-вот пройдет, уверяю тебя.

— Настаиваю — и категорически — на срочной эвакуации. — Бармин бросил на Семенова красноречивый взгляд. Что ж, доктор сыграл в открытую, если и такой козырь будет побит, то других уже больше не будет. Семенов заметно побледнел и отвел глаза. Не хотел бы я в этот момент оказаться в его шкуре!

— Так на Молодежной ведь есть еще две «Аннушки»! — спохватился Скориков. — Они-то могут подстраховать Белова, Николаич!

Семенов покачал головой.

— На полторы тысячи километров без промежуточных баз «Аннушки» не полетят, Димдимыч...

— Знаете что, Андрей Иванович, — с жаром выпалил Веня. — Мы вас понимаем, а вы нас поймите. Давайте голосовать!

— Ну и фрукт, — ухмыльнулся Дугин, — будто только-только вылупился из яйца. Ты еще жребий на спичках предложил бы!

— Давай, давай, — поощрил Веня, — зарабатывай характеристику: «Начальству предан, любит зимовать по два года подряд!»

— Вот люди, — вздохнул Горемыкин, — тут такое дело, а они лаются...

— Док правильно изложил, — подал голос Скориков, — на обратном пути в самолете и мы будем...

— Чтобы он состоялся, этот обратный путь, нужно еще благополучно до нас долететь, — напомнил Гаранин. — Но против голосования, Сергей, я бы не возражал.

— Новгородское вече? — усмехнулся Семенов.

Мне показалось, однако, что в глубине души он рад этому нежданно подвернувшемуся шансу. Наша взаимная неприязнь не мешает мне быть по возможности объективным, и я уверен, что тревога за судьбу летчиков терзала его и до напоминания Гаранина. Но бьюсь об заклад, что у Семенова язык бы не повернулся приговорить тяжело больного друга — а Гаранин, как мы знали, был для Семенова больше, чем просто друг, — ко второй зимовке. Но теперь он был связан по рукам и ногам, ибо что-то, а полярную этику Семенов чтит и соблюдал педантично и свято. Щепетильная ситуация, интересно, как он из нее вывернется.

— А почему бы и нет? — с вызовом спросил я. — В Древнем Новгороде, кстати говоря, глас народа был воистину гласом божьим. Новгородцы даже могли сменить князя, если он, как вы любите выражаться, вылезал из оглобель.

— «Черная метка», как в «Острове сокровищ», — и дуй на все четыре стороны! — развеселился Веня, вдохновленный поддержкой своего предложения.

— Что ж, будем голосовать, — согласился Семенов. — Все высказались? Начнем по часовой стрелке.

— Младшенькая у меня... — как бы думая вслух, пробормотал Нетудыхата.

— «Младшенькая, младшенькая...» — передразнил его Дугин, — Затараторил, как попугай!

— А ты не перебивай, дай человеку сказать! — сердито пискнул Горемыкин, и опять никто не улыбнулся, хотя забавное несоответствие между грузной фигурой и фальцетом повара обычно нас веселило.

Наступила тишина. Я быстро прикинул шансы: скорее всего пять на пять, все решит

один голос. Моя догадка — голос Нетудыхаты! Эх, будь я гипнотизер! Ваня, дружище, думай о младшенькой и больше ни о чем, слышишь меня?

Семенов положил перед собой блокнот и карандаш.

— Приступим. Гаранин?

— Зимовка.

— Присоединяюсь. Бармин?

— Самолет!

— Дугин?

— Конечно, зимовка, Николаич.

— Пухов?

— Я... понимаете... Мне нужно вернуться домой! Обязательно, очень нужно...

— Да рожай уж, — насмешливо процедил Дугин.

— А вы не грубите, — оборвал его Гаранин. — Пухов вам почти что в отцы годится.

— Я за эвакуацию но воздуху! — торжественно сказал Пухов и вытер вспотевшую лысину.

— Хорошо. — Семенов сделал пометку. — Томилин?

— С тобой, Николаич...

— Филатов?

— Я уже сказал, — буркнул Веня.

— Определеннее!

— Самолет.

— Горемыкин?

Горемыкин развел руками.

— Прикинул я здесь, голодать не будем. Зиманем, что ли?

— Нетудыхата?

— Дак я что? — Нетудыхата покосился на Пухова и Веню, виновато крякнул. —

Конечно, младшенькая у школу идет и все такое, так раз надо... Прозимуем, Николаич, я ж понимаю...

— Скориков?

— Самолет.

— Груздев?

— Мой голос не имеет значения.

— И все же таки?

— Я думаю, что вся эта сцена была довольно бессмысленной.

— Вы ставите под сомнение результат голосования? — С угрозой произнес

Семенов.

— Ну, зачем же сразу вешать на меня ярлык... Раз позиция начальника определилась в самом начале, заранее можно было сказать, что большинство его поддержит. Мы, знаете, к этому же приучены. К доктору вы не прислушались...

— Дискуссия уже окончена. В какую же колонку внести ваш голос?

— А ни в какую. — Я решил доставить себе это маленькое удовольствие. —

Считайте мой бюллетень недействительным.

— Вы всегда очень оригинальны, Груздев. — Семенов захлопнул блокнот. — Итого: шесть против четырех при одном воздержавшемся. Костя, свяжись с Молодежной, срочно. Скориков, бланк.

Семенов склонился над столом и начал набрасывать текст. Все сидели

опустошенные, говорить ни о чем не хотелось. Пухов неожиданно всхлипнул и стал прокашливаться, стыдливо оглядываясь. Бармин встал и пошел в спальню, его никто не остановил. Семенов бросил карандаш и попросил внимания.

— Радиограмма пойдет такая: «В связи с тем, что перелет из Молодежной на Лазарев на одном самолете связан с большим риском для жизни экипажа, коллектив отзимовавшей станции Новолазаревская принял решение отказаться от эвакуации по воздуху и готов остаться на вторую зимовку. По поручению коллектива начальник станции Семенов».

Никто не сказал ни слова. Из радиорубки доносилась морзянка.

— Скориков, в эфир! — приказал Семенов. — А теперь, друзья, поговорим о том, как будем жить дальше...

БАРМИН

Я оделся и через люк выбрался на свежий воздух. Морозец стоял с ветерком, на ледник опустились сумерки, и пойти куда глаза глядят я не осмелился: в темноте угодишь в трещину и будешь аукать до конца жизни. Вот где было гулять одно удовольствие, так это на Новолазаревской. Благодатнейший в Антарктиде уголок! Солнце, воздух, микроклимат — как на горном курорте. Хорошая станция Новолазаревская, лучшей нет на всей материке. Жаль, что туда нам уже не вернуться: наступает полярная ночь, а дорога адова, не ней и средь бела дня пройдешь — сто раз маму вспоминать будешь...

Проваливаясь поверх унтов в снег, я добрал до барьера, очистил от смерзшегося снега деревянную макушку мертвяка — тумбы для швартовых, присел и стал смотреть в море.

Солнце уже почти спряталось за горизонтом, оставив вместо себя красно-желтый отблеск расплавленного металла, и море, свинцово-черное под моими ногами, полыхало вдали. Ослепительно белая, с голубыми изломами днем, темнела громада севшего на мель айсберга. Когда на него падал преломленный луч солнца, возникала полная иллюзия электрического огня. Неделю назад Веня скатился по лестнице и ворвался в кают-компанию с радостным воплем: «Братцы, „Обь“! Николаич, где моя бутылка?»

Металл будто остывал, от солнца осталась узкая багряная полоса. Пройдет еще немного времени, на Антарктиду опустится тьма, и мы снова начнем считать дни; двадцать второго июня, в полярный праздник, шумно отметим равноденствие и понемногу начнем пробуждаться от зимней спячки. Так было всегда, на всех зимовках, но впервые эта мысль наполнила душу черной тоской.

Море штормило, с трудом различимые в темноте волны били внизу о ледяной барьер. Мне вдруг стало страшно. Я ненавижу тоску, против нее восстает все мое существо. Я крепок и здоров, я люблю жизнь, а в тоске есть безнадежность, неосознанное примирение со смертью; тоска — мрачный провал в сознании, из которого, кажется, нет выхода. Такого состояния я никогда не испытывал, лишь угадывал его у других — у безнадежно больных, например, которые покорно ждали конца. Я тут же начал себя уверять, что на душе моей не тоска, а обыкновенная грусть. Это не самообман, я ведь проходил курс психотерапии, не раз применял ее на практике и знаю, какие поразительные результаты она дает.

Грусть — совсем другое дело, право на нее имеет каждый, если даже он такой

хронический оптимист и сангвиник, каким считают меня друзья; грусть — это невозможность сегодня того, что станет возможным завтра, в ней есть надежда и мечта.

Я встал, сложил ладони рупором и во всю мощь легких заорал, обращаясь к последнему уходящему лучу:

Э! э! эй! Передай привет Нине и Сашеньке! Э! э! эй!

Я тихо, расслабленно грустил, не сопротивляясь наплыву эмоций и воспоминаний, и чувствовал, что еще немножко — и захочется сладко, по! девичьи плакать.

И хватит. Груздев как! то заметил, что в сентиментальности есть женское начало, нельзя позволять ей превращать мужчину в теленка. Афоризм не безусловный, но с его помощью я убедил себя, что полчаса одиночества нужны мне не для того, чтобы разнюниться на свежем воздухе, а для того, чтобы привести в порядок свои мысли. И тогда я начал думать о том, что наступает моя пятая и самая тяжелая зимовка. Я еще не полностью знал, почему самая тяжелая, и теперь хотел бы это понять.

Чтобы сузить поле для размышлений, я трезво и холодно! рассудочно отбросил мысли о доме: они могут только увести в сторону, сбить с толку. Оставим для дома ночь и сновидения, в остальное время суток о доме можно мечтать только вслух, вместе со всеми, иначе «сдвиг по фазе», тоска...

А самой тяжелой, решил я, эта зимовка будет потому, что люди остались без дела. Ничего нет страшнее для человека, чем вдруг осознать полную свою ненужность. Никаких приборов у нас нет, никакой научной программы. Все, что от нас требуется, — это поддерживать свое биологическое существование. Когда год спустя нас спросят, что мы делали на станции Лазарев, каждый из нас может ответить словами аббата Сийеса: «Я оставался жив».

Каждый?!

Я ошутимо почувствовал, что у меня в груди есть сердце. Было время, когда я этого не замечал и не то что гордился, но радовался своему здоровью. В последнюю зимовку на Востоке я открыл, что моя сердечная мышца, едена из такой же плоти, как у всех других, и в честь этого открытия впервые попробовал на вкус валидол.

Каждый? Дорого бы я дал за то, чтобы на этот вопрос мог ответить каждый. Теперь я понял, почему эта зимовка будет для меня самой тяжелой: потому что я буду бессилён наблюдать, как угасает Гаранин. Я ничем не смогу облегчить его страданий, ничем! Если у него хроническое воспаление легких, нужен хороший санаторий, если рак — немедленная операция. В обоих случаях я совершенно беспомощен.

Сколько угодно могу проклинать себя за то, что не сумел убедить Гаранина, Семенова и ребят. Верно сказал Груздев: вся та сцена была довольно бессмысленной, и правильно, очень умно, что не надеялся на голосование. Однако сути дела он не понял. В жизни случается, что видишь не одну, а две правды, когда вроде бы обе стороны правы. Ну, а сегодня? За одну правду могут заплатить жизнью летчики, за другую — Андрей Гаранин. Пять человек — и один, вот и вся арифметика.

Суть дела и скрывалась в этой арифметике: пять жизней и одна. Не мог Андрей Гаранин, оставаясь самим собой, считать иначе. И Николаич — я не слепой, видел, что душа его криком кричала, — не мог пойти против Полярного закона.

Как полярник я их понимаю, как врач — не могу!

Я встrepенулcя, тусклая тень надежды: а вдруг ошибаюсь? Хирург я, говорят, на уровне, а терапевт — посредственный. Нет, в одном из двух предполагаемых диагнозов

сомнения быть не может. А если я ошибаюсь в ином — в исходе? Ведь немногим более года назад я не сомневался, что вот — вот потеряю Николаича. И ошибся!

Да, тогда я, слава богу, ошибся. И история этой ошибки стоит того, чтобы о ней вспомнить.

Во время перехода из Ленинграда в Антарктиду новолазаревцам отдохнуть по — настоящему не удалось. Нам предстояло открыть станцию, на берегу мы сделать ничего не успели, и работы было невпроворот. Мы целыми днями таскали из трюмов доски и деревоплиту, сколачивали балки на тягачах. Ребята, конечно, ворчали, очень хотелось беззаботно позагорать и вкусить других радостей морского путешествия, но что поделаешь, если сам начальник станции с утра до ночи вкалывает как одержимый. Я привык к тому, что работает Николаич с веселой охотой, неутомимо, и бил тревожно удивлен, когда увидел, что он стал быстро уставать. Я начал за ним следить: дышал он тяжелее обычного, обливался потом от нагрузки, какой раньше бы и не заметил, а в глазах появилась какая — то неизвестная болезненная мрачность. С ним явно что — то происходило. Зная его шепетильность, я для начала затеял осторожный разговор — вокруг да около. Николаич меня обозвал — резче и грубее, чем мог бы ответить другу; Гаранин, его сосед по каюте, на мои вопросы пожимал плечами, удивлялся моей мнительности и заверял, что у Николаича просто пустячное недомогание. Андрей Иванович принадлежал к тем людям, которые совершенно не умеют врать: любая ложь, даже «во спасение», заставляет их мучительно краснеть и отводить глаза. Так он держал себя и со мной, это больше, чем что — либо, усилило мои подозрения. Чтобы не высказывать их в открытую, я придумал всеобщий профилактический осмотр, но Николаич просто на него не явился. Я мог бы доложить об этом начальнику экспедиции, но, к стыду своему, не решился. Не такой человек Семенов, подумал я, чтобы скрывать от друга что — то серьезное; наверное, просто не успел как следует отдохнуть перед рейсом или — тоже вполне возможно — скверную радиogramму из дома получил, а уж я — то хорошо знал, что такая радиogramма может вывести человека из строя куда основательнее, чем вирусный грипп.

Но когда мы распрощались с «Обью» и совершили санногусеничный переход к Новолазаревской, я горько пожалел о своей нерешительности. Николаич худел на глазах. Его скуластое, туго обтянутое обветренной кожей лицо резко осунулось и поражало своей бледностью, он ел через силу и явно терял аппетит. Лучше поздно, чем никогда, — и я стал требовать осмотра, настаивать на том, чтобы Николаич прекратил работу и лег в постель, но добился лишь того, что он отчитал меня, как мальчишку, и начал избегать. Андрей Иванович, безусловно, что — то знал, но откровенно отмалчивался.

Это был, наверное, худший месяц в моей жизни. Я чувствовал себя униженным и беспомощным, весь извелся от тревоги; я ведь не только был врачом, я любил Николаича, только по его настойчивой просьбе пошел на очередную зимовку — и потерял его дружбу. Он не улыбался моим шуткам, не приглашал на традиционный вечерний чай, избегал вступать в разговоры — словом, вел себя так, будто узнал обо мне что — то очень плохое. Мне даже порой казалось, что он стал меня ненавидеть, как врага, — это меня!

Лишенный объективной информации, я ничего не мог понять, строил самые дикие догадки и, наверное, впервые в жизни потерял сон и покой. По ночам я просыпался от малейшего шороха — мерещились чьи — то торопливые шаги и тревожные голоса, я ждал, что за мной придут и скажут, что Николаич умирает. А он работал, да еще как! Вместе со

всеми перетаскивал тяжелые грузы, монтировал дома, торопил людей, чтобы успеть построить станцию до осенних метелей, и с каждым днем сдавал. Ребята не раз видели, как он, уединясь, в изнеможении валялся куда попало и лежал, закрыв глаза; лицо его, бывало, искажалось судорогой, словно от жестокой боли, временами от него исходил резкий запах нездорового пота. Иногда, не в силах выдержать напряжения, я ночью, как вор, прокрадывался к его домику и заглядывал в окно. Он спал, как спит тяжело больной человек; хрипел, стонал, смотреть на это было невыносимо. И когда я отчаялся и стал уговаривать Костю Томилина послать за моей подписью радиogramму начальнику экспедиции, чтобы вернуть «Обь», Николаич вдруг позвал меня к себе, Я прибежал, не чуя под собой ног, готовый к самому худшему. Николаич и Андрей Иваныч сидели за столом и пили чай с вареньем.

— Присаживайся, — предложил Николаич. — Мы вот тут с Андреем спорим, рассуди: догадываются ли пингвины, что их злейший враг косатка на самом деле оказывает им огромную услугу?.. Тебе, как всегда, покрепче?.. Андрей считает, что косатка, выполняя санитарные функции...

— Какого дьявола!.. — прорычал я. Они расхохотались.

— Ладно, отставить, — Николаич положил руку мне на плечо. — Кончай, Саша, высекать копытом искры, «Обь» уже перевалила через экватор, никакой радиogramмой не вернешь.

— Что с тобой творится?!

— Со мной? — Николаич изобразил удивление и отправил в рот котлету. — Appetit что то разыгрался, выпросил у шефа. Ладно, Андрей, рассказывай, я его больше не боюсь.

— Меня? — на моем лице выразилось такое искреннее недоумение, что они снова расхохотались.

И вот что я услышал в этот вечер.

На «Оби» с каждым днем пути Николаич чувствовал себя все хуже и, мучаясь от сильных болей и слабости, сам себе поставил диагноз. Несколько лет назад его сестра умерла от лейкемии, и Николаич решил, что его ждет та же участь. Тогда он и определил свою позицию: держаться так, чтобы его состояние ни у кого не вызвало подозрений, ибо врачи могут устроить консилиум и настоять на возвращении домой. Этого нельзя было допустить, сама мысль о возвращении его ужасала.

Логика его размышлений была такова.

Рак крови — болезнь неизлечимая, где бы ты ни был, конец один; в ходе болезни внешность человека сильно меняется, а он хотел, чтобы жена и дети запомнили его таким, каким видели в последний раз на борту корабля. Если же это не лейкемия, а какой-нибудь пошлый гастрит или язва желудка, то возвращение домой, похожее на паническое бегство, покроет его несмываемым позором и навсегда закроет для него высокие широты.

И Николаич твердо решил, что если уж ему суждено умереть, то пусть это случится в Антарктиде.

— Ты прости, Саша, — продолжал Гаранин, — но больше всех мы опасались именно тебя, Сергей все мне рассказал, и я согласился, что он поступает правильно: нам предстояло обжить оазис Ширмахера, построить новую станцию, и он говорил, что «лучшей усыпальницы полярнику не придумаешь». Но именно ты своей заботой мог помешать ему больше других.

— Какая чушь!

— Нет, Саша, это не чушь. Будь я врачом, Сергей бы сейчас не гонял чаи вместе с нами, а слал бы в мой адрес проклятья из своей московской квартиры. Окажись ты в курсе дела, врачебная совесть заставила бы тебя поднять крик на все южное полушарие.

— Но что же все-таки случилось?

— Не торопи события... Я сам ухаживал за ним, как мог. Он работал до сто седьмого пота, не соглашаясь ни на какие поблажки. Его выворачивало, когда я заставлял его есть, он стонал, метался во сне... А четыре дня назад, ночью, ему стало совсем плохо; он рвался с постели, бредил, и я подумал, что приходит конец; признаюсь, уже оделся, чтобы пойти за тобой...

— Изменник, — проворчал Николаич. — И вообще слишком много патетики. Тоже мне Шекспир...

— И в этот момент он открыл глаза. Он был слаб, как новорожденный теленок. «Знаешь, Андрей, — вдруг сказал он, — мне лучше. Боли ослабли, они почти исчезли, честное слово!» Наутро он с аппетитом поел, и я стал верить, что он выздоравливает. А сегодня... Ты не обратил внимания, что за ужином он умял две отбивные?

Меня ошеломила одна мысль.

Когда Николаич уходил в экспедицию, Вера снабдила его брусникой — чтобы хорошенько провитаминизировался. Я хорошо помнил тот полуведерный глиняный жбан. Николаич не раз предлагал нам угощаться, но кого потянет на бруснику, если всю дорогу нас закармливали бананами, апельсинами и грейпфрутами? И Николаич, хотя брусника ему порядком надоела, прикончил ее в одиночестве, поскольку ягоды были собраны Верой в лесу и, следовательно, освящены прикосновением ее руки.

— Где жбан от брусники?

— Пошел на дно где-то на траверзе Мыса Доброй Надежды, — с интересом глядя на меня, ответил Николаич.

— Жбан... он не был глазированным? Или другое: в какой посуде раньше хранилась брусника? Не в оцинкованной ли случайно?

— Смотри ты! — удивился Николаич. — Доктор, а смысленый. Андрей, покажи ему Верину радиограмму.

Я прочитал: «Тетя Оля лежит со свинцовым отравлением после брусники тчк сделали полное переливание крови...»

— Намек и подсказка докторам, — прокомментировал Гаранин.

Я не удержался, встал и торжественно изрек:

— Николаич, дорогой! Знаешь, что тебя спасло? То, что ты ни разу не обратился ко мне. Как говорится, при правильном лечении тебе ничего бы не помогло. Ибо я поступил бы как ученый и набитый медицинской премудростью осел: уложил бы тебя в медпункт для исследования!

— И что бы тогда произошло? — поинтересовался Николаич.

— Самое худшее, — откровенно ответил я. — Распознать и излечить свинцовое отравление можно только в условиях специализированной клиники. Точный диагноз мы бы все равно не поставили; пришлось бы; заворачивать «Обь» к берегу и эвакуировать тебя домой. А ты же сам себя излечил тем, что работал — в буквальном смысле слова! — до сто седьмого пота. Вместе с потом из организма выходил свинец. Не я должен прощать тебя, Николаич, а ты меня, дурака. Еще раз большое тебе спасибо, что ты не

обратился ко мне!

Такова в общих чертах история с Николаичем, который выжил только потому, что хотел умереть в Антарктиде. Выздоровел он не сразу, свинцовое отравление напоминало о себе еще несколько месяцев, но лишь напоминало, не более того.

Солнце ушло совсем, низкая облачность закрыла небо, и я сидел в полной темноте. На станции зачем-то включили прожектор, его узкий луч, как лунная дорожка, побежал по морю и воткнулся в айсберг, «айсберг разбитых надежд», как прозвал его Веня, когда вместо бутылки коньяка получил от меня заслуженный щелчок по лбу. Ветерок стих, холод до меня еще не добрался, и возвращаться в прокуренную кают-компанию не хотелось.

А воспоминания пробудили надежды, и я снова стал мечтать о чуде, которое свершится с Андреем Ивановичем.

Я вспомнил одну из своих любимых кинокартин «Праздник святого Йоргена», ту сцену, где пришедшие в экстаз богомольцы на тысячи голосов кричали, вопили, требовали: «Чуда! Чу-уда!» Тогда Кторов приказал Ильинскому, которого «бедная мама уронила с шестнадцатого этажа»: «Брось костыли и иди!» — и чудо свершилось. Там, в кинокартине, это было очень смешно...

Я встал и гулко прокричал: — Э-эй! Чу-да! Чу-у-да!

— ...Да-а, — ответило эхо.

Откуда, черт возьми, оно здесь оказалось?

— До-ок! — донесся отчетливый голос. — Где ты?

Выдергивая из снега унты, подбежал Веня и ткнул меня кулаком в живот.

— Док, не спятил? Чего орешь, как психованный?

Веня часто дышал и широко, во весь рот улыбался.

— Что случилось?

— Сто граммов за новость не пожалеешь?

— Канистру! — с радостным предчувствием пообещал я. — Ну?

— Пятьдесят граммов, — канючил Веня, хорошо знавший, что у меня в неприкосновенном запасе чуть больше литра спирта, — А, дожدهшься от такого жмота, ладно, дарю бесплатно: только что эрдэ получили! Насчет ЛИ-2, мол, согласны, понимаем ваше высокое благородство, но грузим на борт «Аннушки» и выходим обратно. «Аннушки» нас будут снимать, понял?

БЕЛОВ

Ночью Ваня Крутилин спикировал с верхней койки — это он гнался за «Фокке-Вульфом» и сделал крутой вираж. Разбудил, дьявол, на самом интересном месте, когда я только-только уговорил одну симпатичную толстушку пойти по грибы. До утра, как ни старался, снились какие-то бочки с горючим да облезлый пингвин под ногами шастал, а толстушки и след простыл. Другой бы на моем месте врезал бы Ване за такое хулиганство, но жалко его стало: и «фоку» упустил, с которым у него давние военные счета, и здоровый фонарь под глазом заработал.

Море штормит, корабль раскачивается, как хмельной, и все мои восемнадцать гавриков в один голос воют. Им, видишь, надоело, у них, мыслителей, аппетит на море пропадает, очень они, шельмецы, хотят домой, к женам. Как только «Обь» снова поволоклась к Лазареву, только и делаю, что провожу воспитательную работу —

главным образом при помощи выражений, имеющих, так сказать, прикладное значение. С моими гавриками иначе нельзя: пока они летают, сердце радуется, какие милые и послушные херувимчики, а кончаются полеты — от нытья и жалоб уши вянут. Послушали бы, как обкладывали ни в чем не повинный ЛИ-2, почти что подготовленный к вылету. Ваня, который успел дать команду прогреть моторы, понес такое, что Сереге и Андрею наверняка здорово икалось, И поделом. За что я люблю эту полярную братву, так это за то, что они сначала лезут в аварийные ситуации, а потом начинают с исключительной трогательностью заботиться о наших драгоценных жизнях.

Скоро двадцать лет, как черт связал нас одной веревочкой, а когда она развяжется — тот самый черт только и знает; редкая зимовка проходит у них, как у людей, вечно откалывают какие-нибудь номера. Когда эти бродяги вдвоем уходят зимовать, я заранее знаю, что спокойной жизни у меня не будет: либо льдина у них расколется, как тарелка, либо с медведем кто-то в жмурки поиграет, либо другое ЧП, вроде лопнувших дизелей на Востоке. А чтобы даром хлеб не ел, подсовывают своему другу самую паршивую погоду и посадочную полосу, на которой двум коровам не разойтись. «Ты, Коля, наш ангел-хранитель, — поет Серега, — ты наш страховой полис!» Ладно, думаю, черт с вами, полечу, хотя, признаться, в мечтах своих желаю дотянуть до пенсии, а не валяться со сломанной шеей на торосе с неизвестными координатами. Так нет, посылают благороднейшую рд, начальник экспедиции Шумилин с ходу ставит на ЛИ-2 крест, капитан Самойлов его поддерживает и — начинай все сначала! Мы вдрызг разругались, но Шумилин мужик упрямый и добро на полет не дал, а когда я брякнул, что обойдусь без разрешения, пригрозил выйти на прямую связь с Марком Ивановичем Шевелевым. Знал, куда ударить! Пришлось затыкать душу пробкой, с Марком Ивановичем шутки плохи — в один миг оставит без воздуха и пошлет на Диксон заведовать простынями в летной гостинице. Конечно, если бы ребята загибались, я бы на этот запрет чихнул, а раз в тепле, брюхо не подводит и нос в табаке — сами виноваты, торчите в своей берлоге. Тем более что, если говорить чистую правду, ЛИ-2 нашему пора в капиталку, ресурс моторов почти что выработан, и в случае чего пришлось бы славно позагорать в какой-нибудь географической точке Земли имени ее величества Королевы Мод. Обидно, конечно, лишние две недели ползать по морю, печенкой чувствую, что не подвел бы нас старик ЛИ-2, а своей печенке я привык доверять больше, чем самому лучшему синоптику. Ладно, проживем как-нибудь две недели. «Аннушка» самолет хороший, было бы место, где разогнаться и взлететь, а там уж мы сработаем, вытащим этих бродяг и скажем им то, что о них думаем. Очень мне хочется снова коротать с ними вечера, с некоторой грустью наблюдая, как понемногу уменьшается уровень спирта в заначенном бидончике. С ними время побежит быстрее, есть что вспомнить и что обсудить, обратной дороги не хватит!

С Серегой Семеновым я познакомился, когда он меня на приводе из пурги вытащил и посадил на Скалистый Мыс. Бензина в баке оставалось на заправку зажигалки — это бортмеханик продемонстрировал, отвернув контрольный кран. Родиться второй раз на божий свет всегда приятно, лично я тем обстоятельством до сих пор доволен, а вот Серега — спросите его сами. Дело в том, что он выручил не только мой экипаж, но и десяток пассажиров, а среди них был один белобрысый подросток в юбке, который за каких-нибудь три дня совершенно вывихнул Сереге мозги и стал его ненаглядной Веруней. Так что жена ему, можно сказать, свалилась на шею прямо с неба.

Первая же встреча моя с Андреем началась чуть ли не с его похорон, а закончилась

анекдотом. Случилось это года на два раньше, когда Семенова на Скалистом еще не было. Получили мы в Хатанге рд: «Прошу немедленно оказать помощь пострадавшему большая потеря крови». Погода — как по заказу: полярная ночь, метет, в эфире сплошная трескотня, вылета начальник аэропорта не дает: тебя, мол, завтра спасать придется. Посмотрел на него зверем — уговорил, посадил врача с сестрой и полетел. Как разыскал станцию и приземлился — до сих пор понять не могу, какое то наитие нашло. Бегом в помещение, а на столе в каютке компании лежит долговязый юноша, закутанный в окровавленные простыни, глазами не моргает и даже маму не зовет. Оказалось, вышел ночью во двор подышать кислородом и прямо с крыльца шагнул на медведя, который мирно храпел и никого не трогал. Медведь — животное неотесанное, полез спросонья в драку, но тут выбежал дежурный и успокоил его парочкой крупнокалиберных. А в Гаранина доктор влил полведра крови, залатал, заштопал по всем правилам — воскресил. Привезли мы его в больницу, а через несколько дней произошел тот самый анекдот. На перекладных прискакала из Москвы гаранинская тетушка, убедилась, что племянник с аппетитом кушает курочку — и ко мне, с благодарностями. Узнала из разговора, что я тоже москвич, и говорит: «Если вам в Москве что нибудь нужно, я врач — пожалуйста». — «А какая, — спрашиваю, — у вас специальность?» — «Я венеролог». Спасибо, отблагодарила! Долго мне в Арктике прохода не давали, интересовались, сволочи, нет ли случайно у меня в Москве знакомых врачей.

Оделся, вышел на верхнюю палубу — смотреть противно: сумерки, волны, ледяное крошево, да еще ветер слякотный, до позвонков пробирает. В такую погоду по Антарктиду осваивать, а с женой чаи распивать в натопленной квартире. Эх, слаб человек! Один голубоглазый мальчишка репортер, который из меня для газеты героя делал, спросил однажды «А что вы, Николай Кузьмич, считаете в своей работе самым трудным?» Ожидал, что я начну ему заливать про взлеты посадки, дрейфующие льды и пургу, а услышал ответ — обиделся: «То, что надолго расстанусь с бабами». Думал, что смеюсь над ним, а сказал я чистую правду. На трудности в своей работе жалуется тот, кто ее не очень любит, а для меня летать — удовольствие, которое омрачается единственно только долгим отрывом от ихней сестры. Вот вытащим Серегу с Андреем — снова поспорим на эту приятную тему. Взгляды наши не только расходятся, а, так сказать, в корне противоположны. Если Серега и Андрей, как всем известно, святые люди, то меня, грешного, к раю не подпустят и на пушечный выстрел. Я ихнюю сестру ценю не только за высокое качество, но и за количество, как магометанин, и не пойму, чем та же самая Веруня Семенова или Наташа Гаранина приковали к своим особам таких железных мужиков. Любовь? Так это ведь детская болезнь, вроде коклюша, сколько можно обожать одну и ту же? Дело, конечно, не в любви, а в исключительно практичном женском уме. Моя Настя, например, стоит мне вернуться на землю, старается заслонить своим крупным телом все шелестящие мимо юбки, отчего моя любознательность только разгорается, а Вера или Наташа — те поумнее: пожалуйста, зыркайте, сколько душе угодно, все равно к нам придете, в семейный очаг. И это правильно. Мужика, как собаку, нужно держать на длинной сворке: радиус большой, мужик поболтается, будто свободный, но не сорвется. А если держать его на короткой сворке — обязательно сорвется, закон.

В Арктике — что, там теперь не жизнь, а кино: разве что на Льдине женщину не увидишь, почти на каждой станции пудрой и духами пахнет. А в Антарктиде ихняя

сестра — только во сне и на стенах жилых комнат, где разные красивые ведьмы образуют картинные галереи. Мужской континент, черт бы его побрал! Однажды Танечка, диспетчер из Амдермы, миловидное такое создание, спросила; «А нельзя, Кузьмич, мне в Антарктиду на зимовку попасть?» — Нельзя, Танечка, разучишься ходить. — «Почему?» — А потому, что тебя круглый год на руках будут носить! Зимовала бы в Антарктиде женщина — на самолетах, тягачах, пешком со всех станций добрались бы, чтоб посмотреть на такое чудо природы.

Вот такие ретрограды, как Семенов с Гараниным, и не пускают сюда женщин, ссылаются на полярную мудрость своего любимого бывшего начальника Георгия Степаныча Морошкина и свято хранят его заветы. Старик действительно был кремень, беседовал на «ты» о Урванцевым и Ушаковым, зимовал с Кренкелем на Северной Земле и мог хоть неделю пережить пургу, зарывшись с упряжкой в снег, — словом, знал Арктику, как знают ее только старые полярники, которых теперь по пальцам можно пересчитать. Он и был главным врагом женщины на зимовке. Помню, что незамужних на его станциях никогда не бывало. «Незамужняя баба, — посмеивался, — вроде мины замедленного действия: рано или поздно взорвется». И положительными примерами из газет его стыдили, и приказами женщин проводить пытались, но зря теряли силы и время. Был в двадцатых годах случай, когда Степаныч и еще двое мужиков прозимовали год с женщиной, приказом сверху начальником ее назначили — в порядке научного эксперимента. И собою не очень видная и работник — ноль без палочки, а вся жизнь вокруг нее крутилась, не зимовка была, а мука. С той зимовки и выстрадал Степаныч свою позицию. Однажды, рассказывали, со старым другом молодости — самим Папаниным схлестнулся из-за радистки, которую тот велел оформить на станцию. Когда разговор пошел с накалом, Степаныч выдал такой аргумент: «Вот ты, Иван Дмитрич, нынче адмирал, Герой и большой начальник. Забудь про свои регалии и скажи: взял бы эту красавицу к себе на зимовку, где штук восемь бобылей всякую ночь во сне ее видят?» Папанин подумал, прикинул и проворчал: «Конечно, не взял бы, старый ты морж...» И приказ тот отменил.

Только под самый конец осознал старик, что без женщины Арктики не завоеешь, в смысле — не обживешь; видел, что на многие береговые и даже островные станции они уже проникли, но держался, сколько мог. А нам, бывало, говорил так: «Женщина — она как бессознательная сила природы. Возьмите атмосферу; образуется область низкого давления — туда устремляются воздушные массы. Так и в жизни людей. Образовалась в Арктике мужская обитель — значит, баба туда обязательно придет. Не может она позволить мужику увильнуть от природного долга, обязательно придет и скажет: „От меня и на дне морском не спрячешься, где бы ты ни был — найду!“ И найдет, никуда от нее не денешься — закон природы. Настоящие моряки перевелись, когда корабли стали строить из железа. Так и полярники кончатся, когда на станциях зашуршат юбки. Помяните мое слово — кончатся».

И так далее, в этом духе. Может, кое в чем и прав был Степаныч со своими старомодными мыслями, только вряд ли сегодня на вербовал бы он много сторонников. Вчера вечером пришел я к своим гаврикам в твиндек, полюбовался на их несчастные лица и спросил: «А ну, такие-сякие, ответьте, положи руку на сердце: если бы сегодня, сейчас же ваши жены хоть на недельку сюда прилетели на ковре самолете, остались бы еще в Антарктиде на полгода?» И в ответ дружный рев: «Спрашиваешь!»

Вот тебе и «мужской континент»...

А штормит все сильнее, к ночи синоптики обещают семь–восемь баллов. Смотрю на море и никак не могу понять, чего хорошего находят в нем моряки? Здесь душа без движения, сыреет и покрывается плесенью. Море для нашего брата–летчика — сплошная скука и унижение: ни скорости тебе, ни чистого неба под тобой, одна лишь черная вода и болтанка, от которой тупеет мозг. Сырое и однообразное, как длиннющий мокрый забор холодной осенью, да еще ледяная каша плюхает под ногами и косатки — вон их целое стадо — из тумана выскакивают, как деревенские собаки из подворотни. Петрович второй день не заходит и к себе на чай не приглашает, злится капитан, что я охаял эту набитую льдом и всякой дрянью, вроде косаток, большую лужу. Ты уверен, дорогой мой Петрович, что море — колыбель рода человеческого и что люди вышли па сушу отсюда; но как только самые умные из них обсохли и выхаркали из легких воду, то куда они устремились? В воздух! Человечество поделило между собой стихии: кому по душе спокойствие — выбрали землю, кому сырость — воду, а кому свобода — воздух! За сырость Петрович и обиделся...

Обижайся, друг, не обижайся, а только в воздухе человек чувствует себя богом! Заберешься на такую верхотуру, что дух захватывает, и понимаешь, что на земле и на воде зрение тебя обманывает: небоскребы — на самом деле детские кубики, корабли — ванночки для купания младенцев, а люди с их крайне высоким о себе мнением — те вообще почти не видны, как Гулливеру лилипуты. Ты — бог!

Ты один можешь представить себе, что наша планета в мировом масштабе — шарик для пинг–понга. И твоя интимная близость к небу, твое неизмеримое могущество наполняют душу такой радостью, какой никто и нигде испытать не может. Все у тебя не так, как у других людей: если скорость — то в сотни раз быстрее, если взгляд — то острее, чем у орла, если смерть — то вдребезги... Вот это и есть ощущение настоящей жизни! А отними у летчика крылья и затолкай его в твою консервную банку — думаешь, комплиментами будет осыпать тебя и твою лужу?

Ладно, любишь не любишь, а другого средства передвижения не дано. Вот приползем дня через три в район Лазарева, тогда и отдохнем душой. Только не привык я к тому, что место для взлетно–посадочной полосы будет искать мне корабль, в Арктике да и на антарктическом материке я сам выбирал себе площадку по вкусу. Время осеннее, началось ледообразование, вдоль кромки — сплошь молодой лед, самолеты на него выгружать — чистая авантюра, а рискнет ли Петрович углубляться в ледяное поле. Войти–то в него войдешь, а выйдешь ли — вот в чем вопрос... И тогда, друзья мои, ваш гуманнейший и благороднейший отказ от ЛИ–2 может обернуться такой дрянной ситуацией, что и врагу не пожелаешь.

Белов чертыхнулся, привычно пошарил глазами в исках дерева, постучал по днищу спасательной шлюпки и трижды сплюнул через плечо. Море бушевало, в лицо летели соленые брызги, и настроение быстро падало до нулевой отметки. Белов подумал, поколебался немножко, но убедил себя и пошел к капитану — мириться.

ИЗ ДНЕВНИКА ГАРАНИНА

Сегодняшний день стал для меня днем открытий. Я узнал немало нового для себя и переосмыслил кое–что из того, в чем был уверен раньше.

Первое открытие оказалось неприятным: я обнаружил, что тело перестает служить с таким усердием, как прежде, Когда Сергей после зарядки вышел умыться, я

попробовал растянуть эспандер и убедился в том, что это мне не по силам; попробовал присесть — и поднялся с таким трудом, будто на плечах лежала штанга. Тогда проделал последний эксперимент: надел костюм, который сшил незадолго до зимовки и берег для встречи — в него запросто поместились бы два Гаранина. Наверное, это было бы очень смешно — покажись я в таком виде.

Сегодня я в самом деле чувствовал себя слабее обычного, и Саша, вступив в преступный сговор с Сергеем, в приказном порядке перевел меня на постельный режим. Спорить не стал: работы на всех не хватает и от желающих снять показания с метеоприборов нет отбоя. Мне даже пришлось устанавливать очередь, как Тому Сойеру, когда, окрестные мальчишки страстно возжелали покрасить его забор. И я весь день блаженствовал. Веня разыскал где-то проржавевший электрокамин, отремонтировал его и приволок к моей постели, Валя Горемыкин, сияя всем своим лунообразным лицом, преподнес блюдо поджаристых блинчиков с вареньем — словом, я был окружен такой заботой и вниманием, что чувствовал себя отпетым симулянтом. Ладно, три дня проваляюсь

— Саша поклялся, что через три дня он не глядя выпишет меня на работу. Сию хитрость раскусить нетрудно: «Обь» уже подыскивает место для полосы, вот-вот прилетят «Аннушки», а на «Оби» Саша с помощью судового врача наверняка загонит меня в медпункт.

У постельного больного есть немало привилегий, и одной из них я воспользовался без зазрения совести: вне очереди прочитал «Затерянный мир» Конан Дойля, одну из пяти книг, имеющих в нашем распоряжении. Читал, не торопясь, наслаждаясь каждой строчкой этой остроумной повести и делая вид, что не замечаю выразительных взглядов Пухова, который под всякими предлогами раз десять заходил ко мне убедиться, что книгу не перехватили конкуренты. Пухов любит читать самозабвенно и книжный голод переносит особенно болезненно; мне даже кажется, что если бы на Лазареве имелась приличная библиотека, то его не очень бы удручала перспектива второй зимовки. В хорошую книгу он погружается, как истово верующий в молитву — страстно и целиком; во время этого священнодействия отключается от внешнего мира, ничего не видит и не слышит. Груздев, который три года назад с ним дрейфовал, рассказывал об одном трагикомическом происшествии. Летом среди бела дня начались подвижки льда, люди покинули помещения и принялись за аварийные работы. В особенно скверном положении оказался домик аэрологов, который повис на самом краю разводья. Кое-как подогнали трактор, стали перетаскивать домик и тут из тамбура со словами: «Неужели я не имею права отдохнуть после вахты?» — появился до крайности недовольный Пухов, Как выяснилось, он в полном неведении безмятежно читал «Восстание ангелов». Может, Груздев кое-что и выдумал, но с Пуховым такое вполне могло случиться. На Новолазаревской он обычно читал во время еды, и Валя, возмущенный таким кощунством, однажды вместо борща поставил перед ним тарелку с киселем; Пухов машинально его посолил, поперчил и, не отрываясь от книги, старательно съел — ложка за ложкой.

Вот уж в ком, кажется, нельзя было открыть ничего нового — так это в Пухове. Он был весь как на ладони: фанатичный книжник и брюзга, редкостный специалист и нытик, знаток всех полярных обычаев и абсолютно не умеющий постоять за себя человек. Он привык к тому, что все относятся к нему покровительственно, терпел постоянные розыгрыши и покорно соглашался с критикой своих многочисленных

недостатков. И поэтому все как-то забывали о том, что зимовал Пухов больше всех нас, а далеко не все эти зимовки были такими благополучными, как наша на Новолазаревской.

И вот после завтрака я стал свидетелем, или, вернее, слушателем, такой сцены. Дверь комнаты была полуоткрыта, из кают-компании доносились голоса: Пухов и Нетудыхата играли в шахматы, а Груздев ждал своей очереди и торопил соперников. Между тем Пухов разворчался по поводу того, что пришел его черед дежурить по камбузу, а кухонной работы он не любит, и вообще каждый должен работать по прямой специальности и тому подобное. Нетудыхата долго терпел, а потом не выдержал:

— И что ж ты за человек, Евгений Палыч, того тебе не хочется, другого... Тебе бы с нами в войну в саперной роте поробить, узнал бы, за что кашу дают.

— Я же не говорю, что вообще не хочу работать, — стал оправдываться Пухов, — я только за то, чтобы каждый делал свое дело.

— С неба льет, — сердито гудел Нетудыхата, — немец стреляет, а мы понтон наводим, и никаких тебе вопросов. Руки опустил — жизнь загубил... Вот тебе шах!.. А вот тебе и мат!

— Это не по правилам! — расстроился Пухов. — Я грубо зевнул!

И тут я услышал голос Груздева — холодный, вежливый, саркастичный.

— Простите, Иван Тарасович, что вмешиваюсь в ваш содержательный разговор. Насколько я понял, вы объяснили Пухову, как тяжело воевать. Так?

— Ну, так.

— Это очень мило с вашей стороны, — продолжал Груздев, — особенно если учесть, что Пухов всю войну провел в морской пехоте, награжден двумя орденами и был трижды ранен.

Я не удержался и заглянул в кают-компанию: Нетудыхата с немим удивлением уставился на Пухова, который явно смутился и стал делать массу ненужных, суетливых движений.

— Как же так, Евгений Палыч... — растерялся Нетудыхата.

— А вот так, — Груздев усмехнулся. — Знал я, Пухов, скромников, но ведь вы — просто уникум! Вы же буквально, приглашаете желающих помыкать собой. Вы же на шее седло носите!

— Георгий Борисович... — взмолился Пухов.

— Удивительно, что еще пингвины не издеваются над вами, — не унимался Груздев. — Впрочем, они порядочнее людей... Ваш ход, Иван Тарасович!

Вот вам и Пухов! Знал я его лет десять, хотя зимовать вместе не доводилось, но о его военном прошлом — кроме того, что он участник войны, — не имел ни малейшего представления. Когда в День Победы мы вспоминали за столом разные случаи, Пухов отмалчивался и все решили, что был он, наверное, в глубоком тылу и поведать ему не о чем.

Я испытываю равное недоверие к людям, которые рассказывают о себе все или, наоборот, не рассказывают ничего. Мне претят как излишняя откровенность болтуна, словно обнажающегося догола, так и чрезмерная скрытность, побуждающая невольно задумываться о малосимпатичных причинах, ее вызывающих. Конечно, у каждого должно быть что-то совершенно личное, сокровенное, знать о котором могут лишь он сам и его истинный друг, если таковой имеется. Но зачем человеку скрывать лучшее, что у него есть? Я знал людей, живущих на одни только проценты со своего прошлого;

гордиться прошлым — это каждому понятно, но эксплуатировать его, на мой взгляд, безнравственно. Пухов же поступал совершенно наоборот — то ли из-за болезненной скромности, то ли из-за нелепого опасения показаться другим, чем его привыкли видеть. Достоевщина какая-то!

А спустя несколько часов новое открытие добавило пищи этим размышлениям. Я все еще лежал в постели, читая о приключениях милого моему сердцу профессора Челленджера, когда из кают-компании донесся голос Вени: «Док, сними гитару, душа просится наружу!» Я не большой любитель Вениного пения, слишком в нем много разгульной одесской лихости, но эта песня была полярная и явно мне неизвестная. И главное — пел ее Венья не так, как обычно, и слова в ней были не совсем для него обычные. Я прислушался.

А у нас здесь такое лето —
Продирает мороз до слез.
Промерзает насквозь планета,
Промерзает душа насквозь
Но радист сотворит мне чудо,
И возникнет совсем живой
Ниоткуда и отовсюду
Еле слышимый голос твой...

Дальше шел припев, который показался мне банальным, а затеи слова:

Нам эфир помешать стремится,
В ном шумы, голоса и джаз.
Но опять я иду к радисту
И опять выхожу на связь.
И к наушникам, чуть согретым,
Приникаю, едва дыша...
И оттаивает планета,
И оттаивает душа...

Песня мне понравилась; впрочем, не только мне, по просьбе ребят Венья спел ее снова. Вскоре он зашел проверить, работает ли электрокамин, и я попросил продиктовать мне слова. Венья пожал плечами; зачем, мол, вам такая ерунда? Я возразил, что хотя и не считаю себя знатоком, но слова этой песни до меня дошли, видимо, сочинил их способный человек, умеющий чувствовать настроение и воздействовать на него. Венья слушал меня с какой-то замерзшей улыбкой, потом скорчил гримасу, стал диктовать слова и вдруг остановился.

— Андрей Иванович, — выпалил он горячим шепотом, — а вы в самом деле считаете, что это не ерунда? Я взглянул на его лицо и догадался.

— Уж не ты ли их написал?

— Я, — выдохнул Венья. — Только — никому!

— Почему же?

— Засмеют! Тоже, скажут, Окуджава нашелся с незаконченным средним...

— А у тебя еще стихи есть?

— Да есть...

— Принеси.

— На кой они вам?

— Да неси же, какого черта!

Веня выбежал из комнаты и вернулся с толстой общей тетрадью в коленкоровом переплете.

— Нет, вы и в самом деле хотите почитать? — все еще сомневался он.

— Давай подряд, сам почитай.

Я лег поудобнее, закрыл глаза и приготовился слушать. Веня листал тетрадку, покашливал и явно не знал, с чего начать.

— Ерунда здесь всякая, Андрей Иванович.

— Да не тяни же ты, господи!

— Ну, хорошо. Вот это я еще на Востоке написал, когда, помните, эрдэ получил, что кореш мой на пожаре погиб...

Время рвется в никуда, а у меня беда.

Люди сумрачней не стали от моей печали,

И никто мне не кивнет, не поймет...

Что ему судьба чужая, что ему печаль глухая?

Незнакомой жизни строчка — каждый плачет в одиночку...

А я не дожуся ночи, мое сердце кровотоцит:

От могилы с еще свежеею землей отлучен я океанскою водой.

Сухо в горле, и сухи мои глаза,

Только слышу, в сердце каплет кровь — слеза...

Веня читал одно стихотворение за другим. Они были разные: совсем наивные, неплохие и просто хорошие, написанные, на мой не очень просвещенный взгляд, вполне профессионально. Но не это меня поразило, а то, что из — за них выглядывал совсем другой, абсолютно на себя не похожий Филатов! В них были пусть не всегда удачно выраженные, но подлинные мысли и чувства, вера в те самые идеалы любви, над которыми Веня остроумно и, бывало, не без цинизма посмеивался вслух. Потом мы долго разговаривали.

— Саше твои стихи нравятся?

— Откуда узнали, что я ему давал?

— Ну, уж раз мне...

— Понятно. В общем, да. Только, говорит, Есенину подражаю. А мне ведь все равно кому, я не для кого —нибудь пишу, а потому, что хочется, для себя.

— По ночам?

— Как придется... Вдруг что — то закипает в тебе... Нет, не так. На Востоке еще мне попалась книжка, я писателя не запомнил — или нет, там обложки не было. Ну, в общем, писатель рассказывает, как у него настрой появляется, вдохновение, что ли; в таком, мол, состоянии, когда у горла стоит гениальность, люди всходят на костер и не чувствуют боли. А что? Здорово! Вы не смейтесь, это не я, это писатель написал, а просто так бывает, что у меня самого такой настрой... — Веня отчаянно защелкал пальцами, — как будто море тебе по колени и ты все на свете можешь... Не то, наверное, говорю... Только уж вы никому, Андрей Иванович, сраму не оберетесь!

Я засмеялся. Не поняв причины, Веня насупился и спрятал тетрадку за пазуху.

— Боишься, люди узнают, что на самом деле ты лучше, чем кажешься?

— Вот уж ерунда! — возмутился Веня. — К чему вы это?

Я рассказал ему про сегодняшнюю историю с Пуховым. Веня широко раскрыл глаза.

— Вот тебе .и «пыльным мешком из□ за угла ударенный!»— удивился он. — Я его за какого□ то неудачника считал... Были бы у меня два боевых ордена — я бы их на каэшке носил!

— А почему стихи никому не показываешь?

— Сравнили! Так то стихи, их кто хочет сочинит... Ну, пусть он теперь попробует!

— Кто и что попробует?

— Это я так, про Женьку Дугина вспомнил.

— Пока не понимаю.

— Разговор между нами?

— Конечно.

— Согласны вы, Андрей Иванович, что иногда человек может сделать такое, что сразу его сущность видна?

— Если этот поступок не случайность.

— А вы сами судить будете. Помните, мы с Женькой подрались, с полгода назад?

— Помню. Безобразная сцена, в которой ты, Веня, выглядел не лучшим образом.

— Для вас, может, и не лучшим. А я об одном жалею — мало ему морду набил.

Помните, Пухов огурцы вырастил?

Я, догадываясь, кивнул. Пухов привез на станцию ящик с землей и несколько месяцев колдовал над ней, пока не появились два крохотных кривых огурчика, которыми он очень гордился. Однажды чья□ то рука сорвала эти огурчики и положила на их места маринованные.

— Все равно, Веня, на самосуд ты права не имел. Причины никто не знал, ты лишь восстановил против себя многих товарищей и начальника станции.

— Мои друзья всегда при мне, а без других обойдусь, — вспыхнул Веня. — А что касается отца□ командира... Андрей Иванович, вот Николаич — очень умный человек, да?

— Согласен.

— Так почему же он Женьку Дугина до сих пор не раскусил?

— Дугин — безупречный работник, Веня.

— Это я понимаю, об этом и спору нет! — Веня разгорячился. — Но ведь человек он — дерьмо. Подхалим и дерьмо!

— Для такого серьезного обвинения одних огурцов маловато.

— Маловато? — угрюмо переспросил Веня. — Ладно, раз— уж пошел такой разговор, без третьего... Помните, когда на Востоке запускали дизель... Он осекся.

— Продолжай, друг мой.

— Нет, про это не надо. И вообще получается, будто я сплетнями занимаюсь. Но все равно не пойму, почему Николаич его за друга держит.

— Ну, здесь секрета нет, ведь Дугин спас ему жизнь. Не знал?

— Не□ет...

— Сергей вывихнул ногу, а Женька два километра, в пургу, тащил его на себе. За это многое можно простить, Веня. Или многого не замечать, что одно и то же.

— Понятно, — огорчился Веня. — Значит, мне с Николаичем больше не зимовать... Жаль, мужик он железный, а на глазах шоры.

— Будешь, и еще не раз! — уверенно сказал я. — Но что же все-таки случилось с запуском дизеля? Не скрывай, Веня, ведь те дни на Востоке нам до сих пор снятся.

Веня покачал головой.

— Дал я ему, стервецу, слово... Андрей Иваныч, а вы сегодня лучше, даже и не кашлянули ни разу!

Наверное, самая грустная мудрость, которую человек приобретает с возрастом, — это растущее недовольство самим собой. Веня ушел, а я лежал и думал о том, что старею и понимание людей дается мне все хуже. Когда-то я Веню угадал, настойчиво рекомендовал Сергею взять его на Восток — и не ошибся: в самый тяжелый период расконсервации он проявил себя замечательно. В ходе зимовки, однако, он стал Сергея раздражать: по поводу и без повода пререкался с Дугиным, с наступлением полярной ночи — а на Востоке она длится полгода — то впадал в меланхолию, то становился агрессивным, и нам с Барминым стоило немалого труда уговорить Сергея взять его на Новолазаревскую. А там и я начал к Вене остывать; мне временами казалось, что он обмельчал, растрчивает свою личность на пустяки, а его непосредственности, столь симпатичная в юном Филатове, превратилась в ширму, за которой скрывается хотя и неглупый, но циничный парень. Веня заметил, что я к нему изменился, и стал меня избегать; кажется, он переживал мое охлаждение и понимал его причину.

Я поймал себя на том, что улыбаюсь и на душе теплеет, будто получил из дому хорошую радиogramму. Я про сто радовался тому, что Веня ко мне вернулся и я снова ему верю, как прежде. Я еще не совсем понимал, почему, но знал, что это так. Дело, конечно, совсем не в том, что он пишет стихи, — кто из нас этим не грешил в молодости! — а в том, что сегодня я вновь увидел подлинного Филатова, пусть слишком горячего и вспыльчивого, но чистого душой Филатова, которого в трудной ситуации я без колебаний выбрал бы себе в напарники и которому вновь буду снисходительно прощать петушиную горячность и заскоки. Жаль, что он связал меня словом и нельзя поделиться с Сергеем своим открытием; впрочем, что-нибудь придумаю. Сергей — человек сложный; когда у него о ком-нибудь складывается определенное мнение, он редко его меняет — на моей памяти, кажется, ни разу. Но что-то мне подсказывает, что и его ждут открытия, причем безрадостные. Чувство благодарности, само по себе очень человеческое и понятное, побуждает его сознательно не видеть того, что видят другие. Веня прав, у Сергея на глазах шоры, он не замечает, какими ироническими улыбками обмениваются ребята, когда старший механик поддакивает начальнику, прежде чем тот успеет высказаться. Мне давно пора с ним об этом поговорить, да никак не решусь: боюсь его обидеть. Сергей мне слишком дорог, а кто знает, сколько нам осталось быть вместе.

Так я лежал и думал, будоражимый этими не очень связными мыслями; мне казалось, что я становлюсь каким-то бесхребетным и слишком мягким, недовольство собой росло, и я все больше расстраивался, еще не зная того, что очень скоро выскажусь и буду при этом жесток.

КАПИТАН САМОЙЛОВ

Мы — старпом Лосев, второй помощник Ерохов и я — сидим в моей каюте. Лосев колдует над кофе, а я добавляю в чашки по две ложечки рижского бальзама — для бодрости. Лучше бы, конечно, расширить сосуды хорошим глотком коньяка, но от него

мне почему-то обычно хочется спать.

Мы молчим, нам нечего сказать друг другу, мы опустошены. Я сижу в своем массивном кожаном кресле и думаю о том, что у каждого корабля своя судьба, предназначенная от рождения. Есть счастливицы с легкой жизнью, красавцы и щеголи, которые носят себе по морям в свое удовольствие, как дельфины, — скажем, яхты, лайнеры с туристами; другие рождены для иной участи, они чернорабочие, грубые и мускулистые труженики: буксиры, спасатели, сухогрузы и рыболовные траулеры; но самая незавидная судьба у ледоколов, для которых плавание — вечный бой. Никаким другим кораблям не приходится так туго, они все-таки плавают по воде, пусть временами бурной, но все-таки воде, и только для ледокола море изменяет свою субстанцию и превращается в каменоломню.

Я люблю свою старушку «Обь», верную и послушную, как старая лошадь, люблю ее всю, от машины до палубных надстроек. Неоригинально, каждый капитан должен либо любить свое судно, либо списываться на берег. И все-таки каждый любит по-своему. Андрей Гаранин вычитал у Шекспира: «Она его за муки полюбила, а он ее за состраданье к ним» — это про меня и «Обь», только поменять местоимения. Привык я к ней, сроднился? Наверное, так, хотя можно было бы подыскать словечко и посильнее. «Оби» я отдал здоровый и, быть может, самый насыщенный кусок жизни; у нас давно выработался общий язык, и понимаем друг друга мы с полуслова. Грустно думать, что век у корабля короткий и свое «Обь» отживает; когда, рано или поздно, она будет выбракована и пойдет на слом, я буду очень по ней скучать. У нее не только корпус — характер у нее железный. Сколько ее било и гнуло, сколько раз льды стремились ее раздавить, смять в лепешку! Вся моя «Обь» в шрамах, как в добытых в бою орденах. Я люблю ее и горжусь ею и, бывает, испытываю похожее на счастье чувство, когда она вырывается на чистую воду и тихо, устало скользит, разминая избитое тело.

Вот и сейчас «Обь» идет по чистой воде и волны залиывают раны на ее броневом поясе. А мы сидим, пьем крепчайший кофе и не знаем, с чего начать разговор. Что-то тщится сказать Ерохов, но сдерживается: он не глуп и подсознательно чувствует, что может попасть не в жилу. Его-то настроение мне известно (на судне вообще все все знают), зависть это от Ерохова, мы бы уже подходили к Канарским островам и вспоминать забыли бы о Семенова и его ребятах. Но этот настрой Ерохов скрывает и правильно делает: Лосев вот-вот сам начнет капитанить, а он, Ерохов, спит и видит себя в старпомовской каюте и поэтому должен делать вид, что полностью разделяет огорчения и радости Мастера. Сердце мое к нему не лежит, но он молод, упрям и дело свое знает. Когда-нибудь и мою каюту займет — закон природы...

— Отдохнуть бы вам, Василий Петрович, — все-таки не выдерживает Ерохов, с сочувственной печалью глядя на мое и в самом деле помятое лицо. Я бросаю на него такой Взгляд, что он поеживается: Мастер сам знает, когда ему отдыхать.

— Ну, куда Игорь решил поступать? — спрашиваю Лосева.

— В университет на мехмат, — оживает Лосев, снимая темные очки и протирая платком глаза, красные, воспаленные. — Все-таки второе место на городской олимпиаде, Петрович! А твоя-то егоза не передумала?

Я с досадой отмахиваюсь. Моя худая и нескладная Лиза, у которой за всю школу и ни одного стоящего мальчишки не было, к десятому классу выровнялась в такую красавицу, что мать только и делает, что гоняет ухажеров метлой. А у Лизаветы одна любовь — лошади, все свободное время скачет, драит их скребницей и готовится в

ветеринарный институт. «Папа! — сурово отчитывала меня, когда я делал отеческое внушение. — Лошади беззащитны! Как ты можешь? Лошадь — самое прекрасное творение живой природы — вымирает, папа!» Может, девчонка и права, пусть делает, как хочет.

Нужно принимать решение, время не ждет.

— Вызови Деда, Григорьич, — прошу я, и Лосев по телефону просит главного механика зайти в каюту капитана.

Дед является в одну минуту, и бумаги при нем — знает, зачем позван, десять раз ныл про топливо.

— Расчет принес, Саныч? — Я без особой охоты рассматриваю протянутый мне листок. На редкость скверный, препаршивый листок. Всю жизнь недолюбиваю цифири из-за их неумолимой безжалостности — только одни факты, и никаких тебе эмоций. — Точно подсчитал, проверил?

Дед изображает оскорбленную добродетель.

— Еще два дня проболтаемся — даже, до Монтевидео не дотянем, — обиженно басит он. — А где еще прикажешь бункероваться?

Дед настолько сокрушительно прав, что ни спорить, ни отвечать ему не хочется. Отлично мог бы его и не вызывать, мне эти тонны по ночам снятся, я и без этого гнусного листка знаю, в какой цистерне и сколько осталось. Деду не объяснишь, что его листок — приговор Сергею и Андрею оставаться на вторую зимовку, Дед — он технарь, его озаренный знанием высокой истины мозг мелодрам не воспринимает.

— Винт как?

— Чуть погнуло, но пока в пределах нормы, — с нескрываемым упреком отвечает Дед, явно намекая, что из-за сумасбродства Мастера «Обь» могла бы остаться без винта. Саныч вообще глубоко убежден, что Мастер и его штурманы только тем и занимаются, что придумывают, как бы вывести судно из строя: заводят его во льды, то и дело попадают в шторма и прочее. Я еще не видел человека, который так люто ненавидел бы паковые льды. Зато организм «Оби» он знает замечательно и диагноз ставит не хуже, чем великий Боткин, который, говорят, за пять минут общения с человеком мог распознать его болезнь.

— Хорошо, Саныч, спасибо, иди. И ты тоже свободен, Михалыч.

Дед и Ерохов выходят, мы с Лосевым остаемся одни.

— Такие дела, Григорьич, — просто так, чтобы что-нибудь произнести, говорю я.

Лосев склоняет голову. Не будь на нем темных очков, я наверняка бы прочитал в его глазах: «Дело ясное, Петрович, сам знаешь, что шансов больше нет». В каюте тепло, даже с избытком. Позаботились корабельные о капитане, соорудили ему уютное гнездышко — кабинет, он же гостиная, а рядом спальня и санузел с ванной. На обратном пути из постели вылезать не буду, вон сколько книг и журналов нечитанных — целый шкаф. Да и отосплюсь на год вперед, на мостике мне делать нечего, вахты стоят помощники. Хороша жизнь у Мастера в открытом море!

Совість моя чиста, я сделал все, что мог, и даже больше, а теперь выдохся и резервов у меня нет никаких. Сам посуди, друг ты мой Сережа, все или не все. Ну, давай начнем с самого начала. Шесть дней подряд я бился о десятибалльный паковый лед, как головой о стенку. Сдался, ушел в Молодежную и вернулся обратно с «Аннушками». Ты знаешь, на что я надеялся: на то, что запросто выгружу самолеты на то самое поле, через которое не мог пробиться. Но Антарктика сыграла с нами злую шутку: то ли за

время нашего отсутствия был сильный шторм, то ли прошла крупная зыбь, но поле на всем его протяжении поломало на никуда не годные обломки. Трое суток я ползал вдоль бывшей кромки, надеясь подыскать хоть сколько-нибудь пригодную для полосы льдину — тщетно: самый крупный из обломков был метров пятнадцать в поперечнике, и даже Коля Белов при всей его лихости не настаивал на такой аванюре. Тогда на аванюру пошел я сам. Уверенный, что все гигантское поле поломать не могло и где-то есть сплошной лед, я повел «Обь» на юг, в крупнобитый паковый лед, и стал лавировать между несяками — торосистыми льдами пятиметровой высоты. На юг я углубился миль на тридцать, к счастью, не дальше, потому что сначала ударил ураганный ветер, а потом морозы усилились и несяки начали со всех сторон обкладывать «Обь», как собаки медведя. И ровно двое суток назад произошло то, чего я боялся больше всего: шуга спаяла льды, как цемент, нас зажало, и «Обь» стала беспомощно дрейфовать.

В этот момент, Сережа, я мог выгрузить самолеты: поле вокруг меня простиралось приличное, до двух километров в поперечнике — торосистое, правда, но взрывчатки на борту имелось вдоволь и часов за десять—двенадцать полосу можно было бы подготовить.

Я этого не сделал, и Коля Белов обозвал меня трусом.

Поставь себя на мое место и попробуй принять решение. Исходная точка: «Обь» зажата в дрейфующем льду. Подготовка полосы — двенадцать часов, выгрузка «Аннушек» — еще два, лету до тебя и обратно — еще пять-шесть часов, итого — для ровного счета двадцать.

Что бы ты сделал на моем месте, дружище?

У меня на решение были считанные минуты, и оно оказалось не в твою пользу. Ибо за двадцать часов «Обь» окончательно зажало бы в ледовом массиве, и она стала бы слушаться кого угодно, только не капитана Самойлова. Стоит ли напоминать тебе, как расправляются льды с такой попавшей в их лапы игрушкой? Челюскинцев в такой ситуации выручили, все-таки материк был под боком, а кто бы выручил нас в этих забытых богом широтах?

Когда я отдал приказ взрывать лед, запустил дизеля и начал выбираться из капкана, Коля и обозвал меня трусом. Не беспокойся, он уже извинился, но эта пощечина до сих пор жжет мое лицо, потому что шансов десять из ста все-таки было. Но я моряк, друг мой, а не игрок, и, поверь, потерять «Обь» значит для меня куда больше, чем потерять жизнь. Началось сжатие, корпус «Оби» трещал; полсутки я затратил только на то, чтобы развернуться на 180 градусов, еще восемнадцать часов пробивался на чистую воду и лишь час назад окончательно поверил, что выбрался. И вот я снова иду по шуге, а в трех-четыре кабельтовых — битый, торосистый лед, входить в который я больше не имею права.

Ну, оправдался я перед тобой или нет, суди сам, дружище...

Из легкого транса меня выводит начрадио Быков — он кладет па стол кипу голубых листков. Москва, Ленинград, Мирный — все волнуются, хотят знать ситуацию. Что ж, их любопытство не праздное, нужно отвечать... Сразу? Пожалуй, еще чуточку подожду... Так, Шевелев беспокоится, не полетит ли его братва на одномоторных «Аннушках» над открытым морем, предусмотрительно беспокоится: море километров на сто севернее Лазарева, по всей видимости, ото льда свободно, но вряд ли, дорогой Марк Иваныч, эти полеты состоятся... А вот и Галина Сергеевна интересуется моим здоровьем, намекает, что в конце мая мне всенепременно надлежит быть дома. Намек понят, Галина

Сергеевна, в конце мая — двадцать пять лет нашей счастливой семейной жизни, души вместе — постели врозь. Удивительный народ — женщины! Согласен, был такой день четверть века назад, когда я, шалый от счастья, на руках внес тебя в довольно — таки жалкое помещение загса — кстати говоря, преодолев твое отчаянное сопротивление, так как на сию честь претендовали еще двое будущих капитанов, а времени избрать достойнейшего не было: мы надолго ушли в море. С тех пор в нашей жизни случались и другие события: рождались дети, я получил свой первый корабль, Костик сыграл, и довольно удачно, свою первую роль в театре, но Галя особенно свято чтит (и требует того же от меня) именно тот самый день, когда переполненная скукой и скепсисом дама хлопнула печати в наши документы. В моей памяти он как — то растворился, а Галя помнит его буквально по часам и каждую годовщину с непонятной настойчивостью смакует слова, которые я, пьяный от свалившегося на меня счастья, тогда сюсюкал. Ладно, человек я покладистый, раз это женскую душу радует — чти и напоминай...

А у меня на душе — болото. Лосев сочувственно на меня смотрит, это я догадываюсь, что сочувственно, потому что Григорьич — верный друг. Из — за меня он два лишних рейса остается старпомом, ему уже давали пароход, но равной замены Григорьичу я не нашел и поклонился ему в ноги. Он отличный моряк, всю жизнь во льдах и понимает их никак не хуже меня, а может, и лучше. Впрочем, помощники сплошь да рядом бывают и способнее и умнее своего капитана, работают больше и спят меньше, но лишь самые дальновидные из них понимают, что участь капитана куда тяжелее: решения принимать ему. И морщин и седины у Мастера больше, чем у его штурманов, если он даже и не старше их: ибо ничто так не сжигает человека, как необходимость решать. Бывает, пока его примешь, такое решение, месяц жизни проживешь в одну минуту. Я был тогда совсем мальчишкой, вахтенным рулевым, но запомнил навсегда, как на наш транспорт неслась торпеда. Мне казалось, она идет прямо в борт, мои пальцы окаменели, я ждал команды, а капитан Прокофьев смотрел на торпеду и молчал. Потом я понял, что идти прежним курсом — это и было его решение. Торпеда прошла в трех метрах от кормы, капитан снял фуражку и вытер лоб. За полминуты он наполовину поседел — это в его — то тридцать лет.

А я теперь старше его на двадцать с гаком и устал от решений. Пора тебе, Василий Петрович, кончать со льдом и доживать свой век на линии Одесса — Батуми; будешь с умным видом слушать жалобы туристов на «невыносимую» качку (волнение моря два балла) и на испорченный кондишен в каютах, отчитывать боцмана за дурно покрашенный клюз и каждый день, как положено просоленному морскому волку, выходить к обеду в свежей крахмаленой рубашке. Ведут же где — то люди такую вот прекрасную жизнь!

— Как думаешь, Григорьич, не придавить ли подушку минуток на шестьдесят?

Лосев кивает, выходит в штурманскую рубку. За что еще я его люблю, так это за то, что он никогда не задает ненужных вопросов. А станет Мастером — выучит тому же своего старпома. Отдыхать я могу спокойно, Григорьич ни за что не покинет рубку, пока я в постели. Ложиться, впрочем, я не собираюсь, а вот душ мне не мешает: решение хорошо принимать на свежую голову. Минут десять я избиваю себя попеременно то горячими, то холодными струями, растираюсь докрасна мохнатым полотенцем и, помолодевший, выхожу в спальню. Из кабинета доносятся чьи — то голоса. Без разрешения ко мне входят только летчики, самозванно даровавшие себе такую привилегию. В том, что они придут, я нисколько не сомневался и заранее знал, о чем

будем сейчас говорить

— «Капитан, капитан, улыбнитесь», — весело мурлычет Крутшн. — С легким паром, Петрович!

— Спасибо. Чай, кофе?

— Мы уже заварили. — Крутилин кивает на чайник. — А где бальзам?

— В шкафу. Хозяйничай, я сейчас.

Я иду в штурманскую и перебрасываюсь с Григорьичем несколькими словами. Потом возвращаюсь в каюту, сажусь и молча смотрю на гостей. Раз пришли выяснять отношения, пусть сами начинают. Белов мрачен, как туча, а Крутилин, чтобы чем-то заполнить неловкую паузу, насвистывает и гремит чашками.

— Слухи по кораблю ползают, Петрович, — не выдерживает Белов.

Я пожимаю плечами.

— По кораблю всегда ползают какие-нибудь слухи.

— На сей раз плохие слухи, Петрович. — Белов сверлит меня глазами. — Будто ты думаешь брать курс на север.

— А куда бы ты пошел, Коля?

— На юг, капитан, на юг!

Так, игра началась. Раньше я сказал бы ему прямо, а сейчас потяну. Жаль, но прежней близости у нас долго не будет, я человек злопамятный.

— Мы уже там были, Коля, и чуть там не остались. Я думал, что ты это помнишь.

— За тот раз я извинился, ты был, конечно, прав.

— А теперь предлагаешь снова лезть в капкан?

— Почему обязательно в капкан?

— Я не сказал, что обязательно. Но вероятность очень велика.

— Не знаю, я не моряк, я летчик.

— Ах, ты не знаешь!

— Я знаю только одно: ребят на Лазареве оставлять нельзя. Они свое отзимовали и пришли на берег, в эту берлогу, чтобы мы их забрали и доставили домой. Они год с лишним жен и детей не обнимали, капитан!

— Демагог ты, Николай Белов. Выйдешь на пенсию — в жэке на собраниях будешь аплодисменты срывать.

Белов багровеет и играет желваками; никому другому такого бы он не спустил, но обстоятельства вынуждают его быть дипломатом.

— Пусть демагог, черт с тобой... Ты мне только найди подходящую льдину, а там можешь обзывать, как хочешь.

— Ты, Петрович, голова, ты капитан, ты истина в последней инстанции! — в своей обычной манере поет Крутилин. — Риски!

— Через эту дверь вы можете пройти в рулевую рубку.

— Были там уже сто раз! — злится Белов.

— Ну, видели подходящую льдину?

— Здесь нет. Нужно снова идти на юг.

— А если застрянем?

— Выберешься! Ты не из таких льдов выползал! — грубо льстит Крутилин.

— Ты, Ваня, всегда был оптимистом. Скажи, твоя стрекоза без бензина полетит?

— Еще как! Носом в землю.

— А мой пароход без топлива первый же шторм погубит.

Топливо — это для Коли и Вани новость. Они переглядываются, недоверчиво на меня смотрят.

— При чем здесь топливо? — спрашивает Крутилин.

— На, читай докладную главного механика.

— Мы с Колей неграмотные. Что он там сочинил?

Про чай они забыли, чай стоит нетронутый. Я терпеливо даю им маленький урок арифметики. У нас в цистернах осталось 280 тонн топлива, а «Обь» потребляет в сутки 20 тонн; поскольку на переход к Монтевидео уйдет двенадцать дней, то, умножив эту цифру на 20, получаем искомое — 240 тонн, что и требовалось доказать.

Лица моих собеседников вытягиваются.

— А не набрехал он, твой дед? — мрачно пытается Белов. — Ты ж его знаешь, ему так же хочется идти во льды, как садиться на кол.

Я молча потягиваю остывший чай. Этот разговор — моя маленькая месть, приказ я отдал, и никакие доводы его уже не изменят.

— Ну и ну! — ахает Крутилин и грозит мне пальцем. — Тебе бы, Петрович, пивом торговать, чуть нас не облапошил. В заначке то получается еще сорок тонн, так? Вот тебе и два дня поиска!

— А если по пути к Монтевидео попадем в шторм? — слабо возражаю я. — Тогда не триста, а двести миль в сутки делать будем, вот и нужен резерв.

— Если, если! — возмущается Белов. — А не будет шторма, тогда что? Да тебе эти сорок сэкономленных тонн по ночам сниться будут!

— Будут, — соглашаюсь я. — А риск?

— А ты радируй начальству! — весело советует Крутилин. — Вали на него ответственность. Оно выше, оно смелое, оно умнее!

— Некогда радировать, — обрывает его Белов.

— Правильно, некогда. — Я достаю и натягиваю ботинки. — Ладно, одевайтесь, вы мне понадобится, эту ночь вам спать не придется. Мы уже полчаса идем на юг.

— Вот это по нашему! — Белов пытается меня обнять, но мне не до сентиментов. Я предупреждаю, что даю на поиск двенадцать часов, и посему летный отряд должен быть наготове.

Летчики убегают — одеваться и поднимать ребят. Я вздрагиваю: по корпусу корабля врезала, наверное, здоровая льдина. Моя бедная, любимая «Обь»...

СЕМЕНОВ

«...Интуиция редко меня обманывает — мы остаемся. Петрович клялся, что, пока есть один шанс из миллиона, он не уйдет из антарктических вод. Только тебе я могу признаться, что я в этот шанс не верю... Почти полгода мы будем жить здесь, в условиях наступающей полярной ночи, на Новолазаревскую нам уже не вернуться, дорога слишком опасна. За эти полгода я обязан временное пристанище с ограниченным запасом топлива и продовольствия сделать для „одинадцати рассерженных мужчин“, как называет нас Груздев, постоянным жильем и родным домом. Лишь тот, кто зимовал в этих широтах — а они зимовали все, — может понять, что такое лишний год в Антарктиде. Скоро от нас надолго уйдет солнце, мир погрузится в темноту. Трудно без солнца человеку, родная, но в десять раз труднее пережить лишнюю полярную ночь. Боюсь, что достойно пройти через это сможет не каждый. Теперь все зависит от их

веры в меня, в себя и во всех тех, кто надет их на Большой земле. Для меня это тоже будет нелегко, но судьба и раньше не баловала меня легкостью поворотов. Станем считать, что сегодня ты снова провожаешь меня на очередную зимовку. Я стою на борту „Оби“, а ты машешь с берега, пока корабль не исчезнет за горизонтом...»

Я отложил грессбух, нужно собраться с мыслями.

У меня есть час времени, потом очередной, вернее, последний сеанс связи с «Обью». Распрощаемся, разорвем последнюю ниточку, и тогда, Андрей, я скажу людям всю правду, как ты того хотел.

Я лег на постель, закрыл глаза и попытался восстановить в памяти события этого дня.

Саша говорил, что самое страшное в нашем положении — это бездействие. Его слова падали на благодатную почву, я думал так же, и только в последние дни понял, что недооценивал другое. Да, бездействие разъедает, как ржавчина, однако опасна она только тому, кто не умеет с ней бороться. Мне кажется, что я сумею. А самое страшное — это продолжительное ощущение того, что ты перестаешь влиять на события и что твоя судьба зависит от воли случая. Ты ничто. Вся жизнь идет мимо тебя, а ты беспомощно наблюдаешь за ней со стороны, гадая, что за жребий тебе достанется и куда повлечет логика событий. Какая там логика — слепой случай!

Это и есть самое страшное: ощущать себя пылинкой в круговороте. Андрей рассказывал когда-то, как вместе с товарищами выходил ночью из окружения через минное поле — другого пути у них не было. Шаг за шагом, след в след прошли, вытащили счастливый жребий. Нашим жизням ничто не грозит: льды под ногами не лопаются, дизель хотя и старенький, но тарахтит, гонит тепло, еды не вдоволь, но месяцев на пять хватит; а затянись эта гнетущая неопределенность еще на неделю, и многие из нас предпочли бы пройти по минному полю.

С уходом «Оби» неопределенность кончится, отныне хозяевами судьбы будем мы сами. Как мы распорядимся — другой вопрос, но отныне мы не пылинки, и я снова чувствую себя человеком. Ибо полная свобода, духовное раскрепощение наступают тогда, когда выбор сделан.

Но это будет. А пока что сегодняшний день — самый плохой за время моих зимовок. Себя обманывать не стану, да, самый плохой, потому что впервые не только события, но и люди вышли из-под контроля. Сегодня по коллективу, который мы сколачивали с таким трудом, прошла трещина. Когда лопалась льдина, мы перебирались на другую. Трещина в коллективе куда опаснее, от нее никуда не уйдешь: или ты заделаешь ее, или она поглотит тебя.

Андрей спит, этот день для него тоже скверный. И будет скверным для всех остальных, он еще не кончился. И хватит, я трачу время не на то: нужно обдумать все, что произошло, чтобы понять, как себя держать, какими словами сказать людям всю правду.

Первым сорвался Пухов. Это было для меня неожиданностью, я ожидал взрыва скорее от Филатова или; Груздева. Если правы летчики и в аварии виноват командир корабля, то Пухов — на моей совести, мне давно нужно было с ним поговорить, разобраться, как того требовал Саша. Пухов никогда не упускал случая поворчать, но в пургу, на любой аврал и к черту на кулички шел безотказно. Последние дни в нем что-то созревало — он стал дерзить, на шутки, которые раньше проглатывал, отвечал колкостями и при моем появлении щетинился, как еж, выискивая повод ввязаться в спор.

Он стал опасен: в каждом человеке, осознает он это или нет, дремлет и ждет своего часа вирус неповиновения, а Пухов его тормозил. Слишком долго я тешил себя тем, что старый полярник сорваться не может, я верил в это, как в догму, и потому попал впросак.

После завтрака Пухов отказался мыть посуду — грубо и наотрез. Это был вызов. Я ощутил на себе любопытные взгляды, все ждали, как поступит капитан, у которого на борту начался бунт.

— Вы переутомились, Пухов? — пока еще спокойно спросил я.

— Это не имеет значения, мне просто надоело. И вообще, нам надо брать пример с американцев, у них на Мак-Мердо все подсобные работы выполняет обслуживающий персонал.

— У наших полярников свои традиции, Пухов. Мы не на Мак-Мердо, а на Лазареве, и вы сегодня дежурный.

— Повторяю, это не имеет значения. Зимовка у нас закончилась, пусть каждый прибирает за себя!

— А что? Дельное предложение! — обрадовался развлечению Филатов. — Голосуй, отец-командир!

— Эй, на Филатове! — прикрикнул Саша. — Евгений Палыч, а как быть с камбузом? С манной кашей, которую вы любите, как сорок тысяч аэрологов любить не могут? Ее вы тоже будете сами себе готовить?

— Так я его и пустил на камбуз! — всполошился Валя Горемыкин.

— Что вы от меня хотите? — порывисто и нервно спросил Пухов.

— Чтобы вы прибрали помещение и вымыли посуду.

— Я уже сказал: надоело! И не только одному мне. Груздев совершенно прав: вы поиграли с летчиками в благородство, а мы из-за этого три недели даром едим государственный хлеб и сходим с ума!

— Ты на всех не распространяй! — выкрикнул Дугин.

— А тебя не спрашивают! — Филатов, конечно, был тут как тут. — Пухов в открытую говорит то, что думают все!

— Я так не думаю!

Филатов ответил грубостью. Еще несколько секунд — и начнется склока, которая может стать неуправляемой.

— Молчать! — Я ударил кулаком по столу с такой силой, что подскочили тарелки. Из спальни вышел Андрей и сел за стол напротив меня. Все притихли. — Насчет игры в благородство, Груздев, я с вами спорить не стану, думайте, как хотите. Речь пойдет о другом. К великому сожалению, Пухов, у меня нет возможности немедленно с вами расстаться. И с некоторыми другими, которые по нелепой случайности стали полярниками, хотя душа у них... цыплячья! Повторяю, мне очень жаль, на сию минуту такой возможности нет. Но пока мы вместе, Пухов, вы будете делать то, что вам прикажут. С отвращением, с проклятьями по моему адресу, но будете!

Из радиорубки высунулся Скориков.

— Николаич, «Обь»!

Разговор был короткий. За ночь «Обь» прошла миль двадцать на юг, кругом — битые торосистые льды, «Аннушкам» ни взлететь, ни сесть, на поиск остается еще несколько часов, держитесь, друзья...

Я знал, что все кончено, еще сутки назад, когда «Обь» счастливо выбралась из

капкана. То, что Петрович опять сунулся на юг, было для меня новостью. На что он надеялся — поймать в авоську падающую звезду? Или доказать и себе и мне, что бился до последней минуты? С того дня, как «Обь» покинула Молодежную, я, как скупой рыцарь золотые монеты, каждый вечер считал, сколько топлива осталось на судне. И получалось, что уже меньше, чем нужно, чтобы добраться до ближайшего порта. Если я ошибся, то не намного. Спасибо тебе, Петрович; ценю и не забуду, но пора кончать играть в эту игру — погубишь корабль.

Скориков выключил рацию и угрюмо сидел, уставившись в одну точку.

— Смотри, никакой паники, — предупредил я, — все идет нормально. Еще есть шанс.

— Врагу бы я такого шанса не пожелал, Николаич... Только непорядок это, когда на пароходе в этих широтах нет вертолета.

— Будто не знаешь, был вертолет, в ураган лопасти погнуло,

— Запасные должны быть.

— Что ж теперь, Димдимыч, руками махать...

— У нашего брата раньше никто и не спросит.

— Хотел бы тебя утешить, да нечем.

— Двое их у меня, Николаич, за каждым отцовский глаз нужен... Каково ей там одной... Возраст у них, сам понимаешь, критический наступает. Мне сейчас дома надо быть, а я здесь неизвестно на сколько застрял.

— Сплюнь три раза, бьются ведь моряки!

— Плетью обуха не перешибешь.

— Вот что, Димдимыч, сомнения ты оставь для ночных переживаний, а на людях изволь не подавать виду.

— Есть не подавать...

Я вернулся в каюткомпанию. Все остались на местах, только Андрея не было. Однако обстановка явно изменилась, я не сразу понял, чем именно, — исчезло напряжение, что ли. Ага, Филатов виновато уткнулся глазами в стол, наверное, поучил взбучку от Саши, а Пухов мост в тазу тарелки и вытирает их полотенцем. Увидев меня, он заторопился и уронил тарелку на пол.

— Новостей пока нет, — сообщил я, — поиск льдины для выгрузки самолетов продолжается. Распорядок дня на сегодня такой: будем заготавливать снег на баню, по сменам. Бармин, отберите первую четверку.

В этот момент из спальни, одетый, вышел Андрей. Я вопросительно посмотрел на Сашу, он чуть заметно кивнул. Что ж, раз доктор считает, что Андрей может выйти на свежий воздух, значит, так надо.

И тут произошла вторая сцена — я же говорил, что день был скверный, одно к одному.

— Решил я вас, ребята, побаловать, — пошутил Андрей, направляясь к выходу, — обеспечить полный штиль. Поколдую над своими игрушками.

— Чего старается человек? — Это сказал Пухов. Так вроде бы, про себя, ни к кому не обращаясь.

Андрей замер, обернулся.

— Вы мне?

— Я так... вообще. — Пухов растерялся. — Чего, действительно, лежали бы, Андрей Иваныч!

— Зачем вы мне это говорите?

Здесь бы Пухову промолчать, уйти, провалиться сквозь землю! Но в него сегодня вселился бес.

— Вы же не маленький, Андрей Иванович, вы прекрасно понимаете, зачем себя...

Я готов был его растерзать! Андрей улыбнулся.

— Вот именно, Евгений Павлович, зачем? Я думаю, мы поняли друг друга. Но если хотите, я готов поговорить с вами на эту тему в индивидуальном порядке. Я скоро...

Как только Андрей вышел, Томилин рванулся к Пухову.

— Врезать бы тебе, дядя моей тети...

— Отставить! — Я силой оттащил Томилину в сторону. — Пухов, зайдите ко мне.

Первой смене приступить к заготовке снега.

Меня душил гнев — плохой помощник в предстоявшем объяснении. Пухов нервничал, лысина его покраснела. Я его ненавидел. Он сразу же перешел в наступление.

— У вас, Сергей Николаич, на станции есть любимчики и козлы отпущения, так дальше продолжаться не может. Вы обязаны призвать Томилину к порядку!

— Тяжело вам, наверное, с нами, Пухов.

— Если вы насчет Андрея Ивановича, то я только хотел проявить чуткость. Когда у моего друга нашли в легком опухоль...

— Да, не только Томилин, многие могли не сдержаться...

— То есть? — с вызовом спросил Пухов.

— То, что вы слышали.

— Если и начальник станции так рассуждает, я обращусь к товарищам!

— Прекрасно. У меня будет повод вынести этот случай на обсуждение коллектива.

Вас это устраивает?

— Пусть товарищи скажут!

— Думаю, они скажут мало для вас приятного.

— Я работал не хуже других!

— Едва ли они вспомнят об этом. Кстати, о работе. Вы настолько явно ею тяготитесь, что я пойду вам навстречу. С сегодняшнего дня вы освобождены от работы. У вас будет время на досуге подумать о разных разностях.

— Вы не имеете права!

— Ошибаетесь, такое право у меня есть. Теперь идите.

— Я этого не оставлю, вы ответите!

— Идите!

Пухов хлопнул дверью. Я выпил воды, прилег. В голове — сплошной гул от напора крови, наверное, пошаливает давление, нужно больше бывать на свежем воздухе. В этом недостаток погребенного под снегом помещения: через вентиляционные ходы воздух с поверхности пробивается слабо. Правильно Саша сделал, что выпустил Андрея, пусть проветрит легкие.

Едва я успел об этом подумать, как Андрей вернулся. Он так устал, что только виновато улыбался и обзывал себя «старой рухлядью», когда я помог ему раздеться и прилечь на кровать. Я вышел в камбуз и принес крепкого чая со сгущенкой. Андрей выпил, улегся поудобнее.

— Никогда не угадаешь, — сказал он, — о ком я все время думал.

— Тогда скажи сам.

— О Пухове.

— Зря придаешь значение его болтовне.

— Ерунда, — возразил Андрей, — это он так брякнул не подумав. Кстати, он только что извинился за бестактность — искренне, по-товарищески. Ты знаешь, что он был на фронте?

— Конечно.

— А что он заслужил два ордена и был трижды ранен?.. Я к тому, что иногда ты бываешь с ним резок. А таких людей с каждым годом остается все меньше, придет время, и их в праздники будут показывать по телевизору — последних из могикан. Поговори с ним по-человечески, один на один, и постарайся понять, что с ним происходит. Только забудь на время, что ты начальник станции, иначе никакого разговора не будет... Ты меня не слушаешь?

— Андрей, — сказал я, — наши дела плохи.

— «Обь»?!

— Да. Поиск практически прекращен, «Обь» уходит домой.

Андрей долго молчал.

— Значит, — он медленно, с трудом приподнялся на локте, — то, что ты сказал ребятам после завтрака, было неправдой?

— Почему неправдой? Хотя, если уж быть честным до конца, пожалуй, так. С другой стороны, «Обь» еще не ушла, Андрей, она уходит. Значит, есть шанс.

— Надеешься на чудо?

— Хочу надеяться.

— Врешь, — спокойно сказал Андрей, — не надеешься ты на него. Ты прекрасно знаешь, что, если поиск прекращается, шансов больше нет. Почему ты не сказал людям правду?

— Это было выше моих сил... Неужели ты не понимаешь? Ты же сидел за столом, слышал... Им трудно было перенести такой удар сразу. Я решил подождать, тем более что теоретически шанс все-таки есть... Ты меня осуждаешь?

— Я, Сергей, никого не осуждаю. Я тебя жалею.

— Почему?

— Не доверяешь ты людям. Ты, наверное, подсознательно считаешь всех нас такими детьми, а себя — отцом. Суровым, мудрым, обремененным ответственностью за несмышленишей. И ты один знаешь, что они хотят, что могут, чего не могут. Тебе одному дано знать, что для них полезно и от чего их надо уберечь. Один ты. И ты ни на секунду не сомневаешься в своей мудрости. Раз ты начальник, ты мудр.

— Андрей, я...

— А ты послушай, послушай. Я ведь не только твой вечный зам, не только старше тебя и не только твой друг. — Андрей невесело усмехнулся. — Знаешь, в моей болезни есть даже преимущества. Пока здоров, можно не торопиться с правдой. Сегодня некогда, завтра неудобно, послезавтра некстати. Ничего, полежит правда — матушка, товар, слава богу, не скоропортящийся... А я, брат, откладывать больше не могу, у меня, может, как говорил Веня, дни сосчитанные...

— Да послушай же ты...

— Помолчи. Раз уж начал, скажу тебе все. Какую-то в последнее время я стал замечать в тебе сухость, начальственность какую-то, черт ее подери. Поддакивания с охотой принимаешь, сам знаешь, кого имею в виду, все авторитет свой блюдешь, как

старая дева невинность. Мода, что ли, пошла такая, чуть человек на ступеньку приподнялся, лишний раз не улыбнется, не пошутит. Чисто атланты кругом — будто земной шар на загривках держат! Кто тебе дал право утаивать от ребят правду? У тебя что, монополия на правду?

— Еще один, последний сеанс связи, и тогда скажу.

— Не обижай ребят. — Андрей надолго замолчал. — Значит, остаемся... Ну, что ж, выходит, не удастся...

— Что, Андрей?

— Что, что...

— Ты сегодня отлично выглядишь, дружище!

— Не надо, Сережа, мне эти словесные инъекции ни к чему. Сколько смогу — протяну, стыдно тебе за меня не будет. Немножко, правда, обидно, что рановато, но я не боюсь. Оглядываясь назад, мне краснеть не за что, совесть, у меня чиста. Кривыми путями не ходил, ближнему ножки и не подставлял, семью любил. И незачем сожалеть и печалиться. Помнишь, как ты сам год назад готовился уходить? Так и я, пожалуй, был бы счастлив, если бы это случилось со мной не дома, а здесь, на берегу, который и мне довелось обживать. Да и сохранюсь во льду, до самого страшного суда свежезамороженным. Сам ведь говорил, — Андрей усмехнулся, — что лучшей усыпальницы полярнику придумаешь... А теперь, Сережа, дай мне отдохнуть, я и в самом деле малость устал.

Кажется, ничего в жизни я не ожидал с таким лютым нетерпением, как этого последнего сеанса. Я буквально находил себе места: пилил и таскал снег, помогал Дугину в дизельной, вымыл пол в спальне, играл с Сашей в шахматы, но душа моя была в радиорубке. Почему, не знаю, я ведь и не надеялся на чудо, а просто дал себе зарок: скажу только после этого сеанса. Груздев, от взгляда которого некуда было укрыться, снова уловил исходившие от меня пресловутые «волны тревоги»; видимо, и другие заметили, что начальник изо всех сил старается скрыть возбуждение. Словом, ожидание превратилось в кошмар. Впрочем, один грех я с себя скинул: подошел к Пухову, который с убитым видом лежал на койке, и сказал, что того разговора не было. Пухов мгновенно просиял, вскочил и с сердцем пожал мне руку. Он еще что-то пылко говорил, а я кивал и не слушал.

За пять минут до сеанса я придрался к тому, что снега для бани заготовлено недостаточно, и выставил всех наверх. Люди уходили неохотно, будто кожей чувствовали, что сейчас что-то должно произойти, и даже Саша с упреком на меня посмотрел.

Сеанс вел Томилин. Слышимость была отличная, работали микрофоном.

— Выхода нет, Серега, сделали все, что было в человеческих силах...

— Понимаю. Знаю, Петрович, что ты использовал все шансы. Уверен в этом.

— Тяжело сознавать свое бессилие, не было еще такого, чтобы «Обь» оставляла людей...

— Понимаю, Петрович.

— Ни черта ты не понимаешь!.. Прости, Серега, сердце изболелось... Вот Коля рядом... Берем курс на Родину, друг мой, курс на Родину...

— Счастливого плавания, Петрович, земной поклон Родине, земной поклон!..

Вот и все, подумал я, пуповина обрублена. Будем учиться жить сами.

— Что скажешь, Костя?

— Похныкал бы в жилетку, да нет ее у тебя, Николаич. Зиманем.

В Косте я был уверен, Костя из тех, которые хнычут последними. Три раза мы с ним зимовали, и если он согласится пойти в четвертый, другого радиста искать не буду.

— Спасибо... Теперь от тебя и Димдимыча многое будет зависеть. Ругайтесь про себя сколько влезет, но принимайте от ребят радиogramмы любого размера, хоть простыни... Если удастся, любой ценой, как угодно, установить с Большой землей радиотелефонную связь — буду в вечном долгу. Связь должна быть в любую минуту, в любое время дня и ночи. За это ты отвечаешь, Костя.

— Сам вместо антенны на крышу встану, Николаич!

Меня вновь ослушались, на заготовку снега никто не пошел. Видимо, ребята просто поднялись наверх и вернулись, как только начался сеанс. Теперь они сидели за столом и смотрели на меня. Наверное, они слышали, как я прощался с капитаном. Что ж, тем лучше. Меня сегодня весь день били, пришла и моя очередь. Сейчас я им скажу всю правду — ударю наотмашь.

Такого мертвого молчания на Лазареве еще не было. Ни одной реплики, ни одного вздоха — люди словно окаменели. Теперь, после сухой информации, я должен был взять правильную ноту. Утешение — лекарство для слабых; я смотрел на Андрея и читал в его глазах: «Не оскорбляй ребят утешением».

— Земля, друзья, — продолжал я, — сузилась для нас до размеров каюты компании. Каждый день в течение многих месяцев, да что там день, каждую минуту мы будем видеть друг друга, говорить только друг с другом, искать спасения только друг в друге. Обстановка усугубляется тем, что все научное оборудование осталось на Новолазаревской, а вернуться туда мы сможем только в сентябре, когда будет светло. Так что вложить свою энергию в дело нам будет не просто. Жизнь предстоит нам нелегкая и в материальном отношении: на камбузе остались в основном крупа да консервы. Книг у нас мало, с куревом плохо, кинофильмов нет...

Филатов вдруг нелепо рассмеялся и сорвал со стены гитару.

— А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо!

— Веня, — негромко сказал Саша, — не строй из себя осла.

— К тому же, — продолжал я, — у отдельных товарищей временами сдают нервы. Я ничего не скрыл, нам будет трудно. Поэтому жить будем так. Распорядок дня — подъем, прием пищи, отбой — остается без изменений. Будем продолжать все наблюдения, проводить которые в наших силах. В свободное время — учеба. Томилин и Скориков обучат товарищей радиоделу, Нетудыхата, Дугин и Филатов — дизелям, материальной части и вождению тягача. Груздев, вы должны подготовить популярный курс лекций по физике, Гаранин — по метеорологии, я беру на себя гидрологию. Как видите, мы в состоянии помочь друг другу стать образованными людьми, получить вторую специальность. Мы еще много придумаем, друзья!.. Теперь о другом. Днем я обошел помещения станции. В спальнях грязно, постели не прибраны, на полу окурки. Сегодня дежурным были вы, Евгений Павлович!

Пухов посмотрел на меня невидящими глазами. Наверное, он давно отключился и не слышал того, что я говорил. Зато ни слова не упустил Груздев.

— А не находите ли вы, — он усмехнулся, — что говорить о санитарии и гигиене в этих обстоятельствах... как бы помягче выразиться...

— А вы не стесняйтесь, здесь все свои.

— Не к месту, что ли.

— Я нахожу, что санитария и гигиена не могут и не должны находиться в зависимости от обстоятельств. И буду настаивать на этом.

— Вы решили заняться моим воспитанием?

— Если в этом возникнет необходимость.

— А не поздновато ли, Сергей Николаич?

— Не боюсь показаться банальным: лучше поздно, чем никогда.

— И надеетесь на успех?

— Более того, уверен.

Глаза у Груздева потемнели.

— Вы сегодня, Сергей Николаич, очень... категоричны. Так и норовите подмять под себя, как паровой каток. Сначала Пухова, теперь Груздева... Мы плохо провели зимовку?

— В деловом отношении — безупречно.

— Тогда в чем же дело?

— Немногого, Груздев, стоит человек, рассчитанный на одну хорошую зимовку.

— Я не доска, а вы не рубанок, Сергей Николаич. По живому телу режете.

Я видел, что Груздев с трудом сдерживается. Этот разговор был необычайно важен. Мне казалось, что от него зависит все, буквально все, а раз так, его необходимо довести до логического конца. Я перестал видеть Груздева — передо мной была трещина, в которую могла провалиться станция.

— Вы затребовали объяснений, — начал я, — терпите, обезболить не умею. Все мы, Груздев, сделаны из одного теста, только закваска у каждого своя. В ней, закваске, суть дела; Гаврилов и его ребята оголодали и померзли до черноты, но довели тягачи от Востока до Мирного. Закваска! Сколько раз наши с вами товарищи перебирались с одной расколотой льдины на другую, но продолжали дрейфовать — закваска! Об этих людях, нашей полярной гордости, можно говорить до бесконечности. Оглянитесь, Груздев, вы их увидите! Вы, Груздев, в нелегких условиях провели отличные магнитные наблюдения, вы достойно вели себя в авралах, мы гордились вашей стойкостью, когда вы с дикой болью от жестоких ожогов ни на час не прерывали работу. Это было. И знаете, почему вы скисли?

И снова мертвая тишина. Мне казалось, я даже слышу, как вдалеке бьются о барьер волны.

— Потому что вам не хватило закваски. Что было, за год израсходовали. И все. Вы свою дистанцию пробежали, уже вскинули руки, ожидая аплодисментов, а вам вдруг — бегите снова...

Груздев провел рукой по лицу, словно стряхивая оцепенение, и совершенно неожиданно для меня улыбнулся.

— Кое в чем, возможно, вы правы.

— Не скрою, рад это слышать. Об остальном договорим после.

— Договорим. — Груздев миролюбиво кивнул.

— Точка, — сказал я. — Итак, сегодня банный день, дизелисты, как говорится, к топкам...

А потом мы говорили с Андреем до глубокой ночи.

— Сегодня ты был жесток.

— Хирурги, спроси у Бармина, отдирают бинты одним махом — так гуманнее. И потом, ты же сам меня ругал, что я боялся сказать правду.

— Правду говорить нужно, даже самую жестокую. Но самому быть жестоким при этом вовсе не обязательно. Иногда нужно быть добрее, Сережа. Не бойся, это тебя не унизит.

— Абстрактно ты, конечно, прав. Но чаще всего, друг мой, добротой называют слабость, а здесь, сам понимаешь, такая доброта смертельна. Сегодня, Андрюша, мне самому хотелось, чтобы ты меня погладил, как щенка, этакие, черт бы их побрал, горькие веточки вдруг начали царапать горло. Но ты меня отстегал — не подумай, что я жалуясь, за дело! — и тогда я от боли пошире открыл глаза и оглянулся. И все встало на свои места: дело стоит, люди ждут от тебя необходимого слова, жизнь продолжается... А что это нас с тобой на лирику потянуло?

Андрей так долго не отвечал, что я даже привстал с постели и хотел к нему подойти, но тут он заговорил:

— Видишь ли, Сережа, подводя итоги, становишься добрее. Начинаешь мучительно вспоминать, не оставил ли ты каких-либо неискупленных обид на земле, подсчитываешь моральные, так сказать, утраты. И скажу тебе, как на исповеди: более замечательного чувства я в своей жизни не испытывал. Попробуй, Сережа.

Мне стало горько. Я встал, подошел к Андрею, сел на его кровать.

— Успею еще...

— А то, как я, попробуешь, а уже поздно будет.

— Андрюша, — сказал я, — дорогой ты мой человек, это не для таких, как я. Время еще не пришло. Мы работники, у нас дел по горло, только попусти — все вмиг пойдет прахом. Добро, кто-то хорошо сказал, должно быть с кулаками. Рука, разжимающая кулак, — безвольная рука.

— Я прав, ты прав, он прав, — улыбнулся Андрей. — И все-таки подумай над тем, что я тебе сказал. Ну, спокойной ночи. Пусть нам приснится Валдай, самый хороший клев и вокруг — ни одного конкурента! Идет?

«...Вот я и отчитался перед тобой, родная, теперь ты все знаешь. Андрей давно уснул, и я надеюсь, что ему снится любимый Валдай, лещи да окуни, которых он таскает одного за другим. Когда я говорю или делаю что-нибудь, у меня всегда бывает ощущение, что он рядом и каждое мое слово, каждый поступок проверяет с предельной беспощадностью. Сегодняшний день многому меня научил: меня обижали и я обижал, а в конце концов получилось, что мы квиты. Некоторые, я знаю, считают меня сухарем, они не видят за моей постоянной твердостью живых человеческих чувств. Если б они могли знать, как я хочу увидеть тебя, твои глаза, твое лицо, всю тебя. Но дать сейчас себе поблажку, размагнититься — значит, сдаться на милость самому страшному врагу полярника — безнадежности. И я не сдамся ради них самих, ради тебя, ради самого себя, наконец! До свидания, родная, видишь, все-таки — до свидания!»

Семенов выключил свет и лег в постель.

Так закончился на станции Лазарев первый день второй зимовки.

ФИЛАТОВ

Моя вахта от нуля до четырех утра — повезло, все равно на станции никто не спит, кроме Нетудыхаты. У Вани с Пуховым соревнование, кто кого перехрапит: такие рулады выдают — что тебе Магомаев! Груздев до того озверел, что среди ночи со спальным мешком удрал досыпать в камбуз. Досыпать — это так говорится, нынешней ночью по

станции лунатики шастают.

Сидел я за стеклянной перегородкой, полный жизни и веселья, и думал об окружающей меня действительности. А была она так прекрасна и удивительна, что хоть пой пионерские песни. Разве что дизелек наш пыхтит без энтузиазма — в годах дизелек, пенсионного возраста, не ожидал небось, что снова призовут на действительную. Если больничный листок возьмет — запасного — то нет! Не предусмотрено планом, что люди в этой преисподней зимовать будут, значит, и запасной дизель не предусмотрен. Морозы на Лазареве, конечно, не те, что на Востоке, но и, прямо скажем, посильнее, чем в Сочи. И ветерок такой бывает, что голову не высунешь — отвинтит...

Заснуть бы на эти полгода! Что я здесь делать буду — полгода? Целых полгода сыреть в этой дыре, по сто раз на дню видеть Дугина, хоть белугой реви: «За что?» Лев Николаич Толстой, светлый гений, спрашивал: «Много ли человеку надо?» Мне — совсем почти что ничего! Отзимовал я, заработал свои деньги и хочу одного: дайте мне пожить не медвежьей, а людской жизнью. Ну, лес, грибы, рыбалка, на месяцок в Гагру с Надей, если она дожидается... Много я прошу, что ли? Другим все это само в руки падает, как туземцу кокосовый орех, а я ведь мерз, как собака, вкалывал, как вол, сколько раз чуть сандалиии не откидывал! Так нет, на роду написано: невезучий ты, Филатов, человек — и баста. А зачем человеку воздух коптить, если он невезучий? Саша говорит: а ты усмотри себе в жизни мечту и тянись к ней. Может, это и есть главная мудрость нашей быстротекущей жизни, но если, черт меня побери, я никак не могу ее усмотреть, эту мечту? Женька Дугин — тот усмотрел: прозимует последний разок, купит дачу, машину, женится, нарожает маленьких Дугиных и будет по вечерам смотреть телевизор в свое удовольствие. Такая мечта, дорогой док, меня вдохновляет, как манная каша: на материке мотаться от дачи до родильного дома...

На огонек зашел Костя Томилин.

— Здравствуйте, товарищ вахтенный механик. Как настроение, боевой дух?

— Пошел ты...

— Ясно, Веня. Мальчик хочет домой, мальчик истосковался по жигулевскому и любви.

— Трепло. находка для шпиона.

Костя зверски зевнул, присел на табуретку. Парень он гвоздь, хотя тоже из семеновских любимчиков. Но говорить с ним можно о чем хочешь, ни чужих, ни своих секретов Костя не продаст. И кореш надежный и радист — один на сто, будь я начальником — сам бы его за собой таскал.

— Ты ж на вахте, — напомнил я.

— Магнитная буря, эфир взбесился. — Костя снова зевнул, с завыванием. — Ладно, Веня, дома отоспимся. Подумаешь, год! Оглянуться не успеешь. Вот какой я себе план наметил, Вениамин Григорьич. Как только вернусь домой, первым делом в баньку, к дяде Семе, чтоб он из меня всю эту стужу выжал. Потом в пивбар, чешское под рачков и скумбрию. А потом... Прости меня, благоверная, душа трепещет, давай поиграем в любовь и дружбу! Эх! Сам завидую...

— Знаешь, что бы тебе сказал Пухов?

— Догадываюсь.

— «Как не стыдно, товарищ Томилин, нести жеребятину, вы же интеллигентный человек, классику читаете!»

Костя засмеялся.

— Точно, он и на Большой земле будет спать в обнимку со своим радикулитом! Ну, твоя очередь, что будешь через год делать?

— У тебя, Костя, нет взлета фантазии. Банька, пиво, скумбрия... Нам с Пуховым стыдно за вас, товарищ Томилин. Я в Гагру поеду. Домик там есть на горушке, протянешь из окна клешню — мандарины, желтенькие, кругленькие... Арчил Шалвович Куртеладзе — хозяин, старый мудрый джигит. Только, говорит, дай телеграмму — будет тебе, Веня, комната с видом на море, виноград и шашлык от пуза, девочки с голубыми глазами... Вот это жизнь!

— А ты в зеркало на себя давно не смотрел? Фотокарточкой для голубых глаз не вышел.

— Томный ты человек, Костя. Для ихней сестры не фотокарточка самое главное.

— А что?

— Ты не поймешь, образования не хватит. Главное для них, товарищ Томилия, — это шарм... Легок на помине!

— Вы обо мне? — Пухов присел, вздохнул. — Не снится... В мои годы сон вообще проблема, а тут еще такое...

— Принесло нытика... — Костя вполголоса выругался.

— Кроссворд от нечего делать решаю, — поведал Пухов. — Веня, тут по вашей части: «деталь дизеля», восемь букв, третья «р».

— Где это кроссворд неразгаданный нашли?

— Я старые резинки подчищаю. Так что бы это могло быть?

— Форсунка, наверное.

— Форсунка, — Пухов чмокнул губами. — Подходит. Спасибо, Веня.

— Еще что-нибудь?

— Ну, если вы так добры... «Частиковая рыба» не получается, шесть букв, пятая «д».

— Сельдь не подойдет?

— Минуточку... Отличнейшим образом! Премного благодарен. Вот и разгадан этот дурацкий кроссворд... Что теперь делать?

— Спать, Евгений Палыч, а там видно будет.

— Холодно у нас в спальне, батареи нужно проверить.

— Теплее уже не будет, Палыч, солярки в обрез, экономим.

Пухов горестно закивал головой.

— Слышал... Веселая зимовка нас ожидает, как я понимаю... Полная благополучия и высокого смысла.

— Действительно, шли бы спать, — неприязненно буркнул Костя. — Киснуть мы и сами умеем.

— Хоть бы вы, Томилин, не превращались в метра. Последнее время все только тем и занимаются, что учат жить.

— И правильно учат, за дело.

— За какое дело? — повысил голос Пухов.

— Перечислить?

— Будьте любезны!

— Эй, выпру из дизельной! — предупредил я. — Брось, Костя, мне только вашего лая не хватает.

— А чего он заводит? — разошелся Костя. — Кто утром склоку с посудой затеял?

Пухов. Кто Андрей Ивановичу в душу плюнул? Пухов! Кто еще по второму разу зимовать не начал, а уже слезу вышибает? Знаем мы вас, Пухов!

Я и в самом деле хотел гнать их в шею, да рука не поднялась. Пухов как то сгорбился, сник и стал совсем старый.

— Что вы обо мне знаете, Костя? — тихим и дребезжащим голосом сказал он. — Может быть, то, что, когда вы, с позволения сказать, пешком под стол ходили, я высаживался с «морских охотников» в немецкий тыл? Или то, как от звонка до звонка двадцать два года отзимовал на разных станциях? То, что у меня старая и больная мама, для которой я единственная надежда и утешение? Что вы еще знаете обо мне, Костя?

А потом посмотрел на Костю так, что тот глаза отвел, и вышел из дизельной.

— Вот, обидел человека, — расстроился Костя.

— Ты уж действительно попер... Полегче бы надо.

— Надо, надо... Думаешь, не понимаю? У меня ведь у самого мать второй месяц в больнице... И Кира с дочуркой, всего три годика... Представляешь, что завтра будет, когда узнают? Сам, своей рукой в эфир отправил — обрадовал... Душа на мелкие части разрывается, так болит...

...Рваная какая то ночь была — ни поговорить как следует, ни подумать. Раньше в дизельную никто и не заглядывал, велика радость соляркой дышать, а сегодня будто сговорились, дверь так и хлопала. И хоть бы кто в сторону увел, анекдот, что ли, рассказал бы, посмеялся — так нет, каждый со своей тоской приходит, ждет сочувствия. Сначала Димдимыч целый час черную тучу нагонял, потом Валя про свою любовь к жене вздыхал, какая у него замечательная и к нему, недостойному, ласковая (с таким будешь ласковая! всю жизнь под каблуком и деньги немалые привозит). А у меня из головы не выходил Пухов, так и звучало в ушах, как он это слово сказал: «мама». Такая в нем была боль и ласка, что у меня чуть слезы на глаза не навернулись. И его жаль и себя; моей то мамы давным давно нет, лица ее почти что не помню, одно слово «мама» и осталось. Была б у меня мама, я б тоже знал, что хоть один на свете человек, а ждет, не променяет на другого, который поближе и рылом смазливее... Наконец пришел Саша, и только я обрадовался, что можно отвести душу, как вслед за ним появился Дугин.

— Спасибо, что навестил, — сердечно сказал я ему, — очень я по тебе соскучился.

— А я по тебе нисколько, — умно ответил Дугин. — Просто интересуюсь, не запорол ли дизель.

— Хороший ты человек, Дугин, Хочешь, научу закрывать дверь с той стороны?

Пока он раздумывал, как бы поостроумнее окрыситься, Саша его спросил:

— Ты то чего не спишь?

— Сколько можно, днем спал, ночью спал, — гордый за свой организм, ответил Дугин. — Мне, сам знаешь, твоих пилуль не надо.

— Женя, — с огромным дружелюбием спросил я, — а у тебя бывают какие нибудь жалобы? Ну, на здоровье, питание, настроение?

— А зачем тебе? — подозрительно спросил Дугин.

— Да так, уж очень ты редкостный экземпляр: всегда всем доволен.

— Почему это всем? Думаешь, мне улыбается на каше полгода сидеть? Так и до катара желудка недолго.

— Не беспокойся, голубчик, — успокоил Саша, — гастрит обычно возникает на нервной почве, а у тебя нервы вполне исправного робота.

— Ты не очень то обзывай, док!

— Вот чудак, да мы все тебе завидуем! — Саша очень удивился. — Спишь сном праведника, из-за очереди на книги не волнуешься, к уходу «Оби» отнесся с исключительным спокойствием — словом, живешь и трудишься, как робот с его нервной системой из нержавеющей проволоки.

— А что мне, визг подымать? — Дугин был озадачен, поскольку не понял, обижают его или делают комплимент. — Я, может, больше тебя домой хочу, но раз надо, значит, надо.

— И чего ты, док, в самом деле от Женьки требуешь? — вступился я. — Он же изложил свою позицию: сидим в тепле, спим вволю, да и суточные, опять же, идут. Чем больше сидим, тем больше суточных, правда, Женька?

— Сказал бы я тебе...

— А ты скажи, скажи!

— Веня, не возникай, — со скукой сказал Саша.

Дугин посмотрел для престижа на шкалу, проверил давление, обороты — все-таки старший механик, начальство — и вышел.

— Знаешь, детка, — проникновенно сказал Саша, — мне хочется здорово тебя отлупить. Кажется, зря я тебя воспитываю, бессмысленно трачу энергию.

— Не зря, — возразил я, — ты совершенствуешь мою психику.

— Дурак ты, Веня.

— Сам знаю, что дурак.

— Врешь. Настоящий дурак уверен, что он очень умный. Ты, Веня, конечно, не дурак, ты осел.

— Почему? — запротестовал я.

— А потому, что осел, причем из самых отпетых. Если раньше я легкомысленно полагал, что Филатов длинноух по своему юному возрасту, то теперь пришел к выводу, что осел он по своей сущности, до мозга костей и последней капли крови. Я нисколько не удивлюсь, если вместо членораздельной речи из твоей пасти извергнется: «И-а! И-а!» И не ухмыляйся, я говорю серьезно. Давай же проанализируем, почему ты осел.

— Давай, — весело согласился я. Что бы Саша ни говорил, а я его люблю. До чего все-таки хорошо, что у меня есть Саша, не знаю, как бы я без него здесь жил. А еще вернее — не будь его, и меня бы здесь не было. А вот чего на самом деле не пойму, так это, что он во мне находит интересного: полстанции ревнует, что док больше со мной, даже Груздев и тот вопросительно смотрит, удивляется. А может, Саша просто догадывается, что, если в воду упадет, меня тут же ветром сдует вместо спасательного круга? Ладно, пусть буду осел, козел и ящерица, лишь бы подольше не уходил. Сейчас он мне выдаст, безусловно, по такой программе: веду я себя идиотски, раздражаю Николаича дурацкими выходками, трачу скудный интеллект на перебранку с Женькой и тому подобное.

— А, к черту, — вдруг сказал Саша. — Нотациями тебя не проймешь, а бить жалко, уж очень морда наивная. Вот что я тебе открою, детка: год нам предстоит на редкость паршивый. Такой паршивый, что хочется по-собачьи скулить на луну, пока глаза не покатаются золотыми звездами в снег, как сочинил твой любимый Есенин. Тебе плохо, Веня, мне плохо, всем плохо. И будет еще хуже. Мы, Веня, заперты, как птички в клетке; Николаич, мудрый человек, правильно сформулировал, что искать спасения можно только друг в друге, помочь себе можем только мы сами — и больше никто. Ты сострил

насчет психики и попал в самую точку. В ней, этой загадочной психике — гвоздь вопроса: выберемся мы отсюда людьми или со сдвигом по фазе. А говорю я тебе все это столь высоким стилем потому, что меня очень беспокоит один человек.

— Пухов?

— Он тоже, но в меньшей степени. Пухов взбрыкивает, когда у него есть выбор. Недели через две он окончательно примирится с тем, что альтернативы нет, и — полярная косточка все-таки! — будет с достоинством нести свой крест.

— Дугин, что ли?

— Дался тебе Дугин! Вот уж кто меня абсолютно не волнует! Будь объективен, Веня: из всех нас именно Женька был последовательным от начала до конца. Николаич считает, что лучшего подчиненного и придумать невозможно, хотя, честно говоря, я бы придумал. А больше всех других, детка, меня беспокоишь ты.

Я уже догадывался, что он к этому клонит, и морально готовился к разоблачению своей сущности, но тут дверь распахнулась и на пороге показался Николаич. Он был в одном исподнем и в унтях — никогда в таком виде он на людях не показывался. Он кивнул, Саша тут же выбежал; я вскинулся было за ним, но Николаич взглянул — будто пригвоздил: знай, мол, свое место, вахтенный, Все равно сидеть спокойно я уже не мог и тихонько выбрался в кают-компанию. У дверей комнаты начальника человек пять замерли вопросительными знаками, прислушивались, а оттуда доносился кашель — хриплый, нескончаемый, со стоном. Как ножом по сердцу... Потом кашель утих, на цыпочках вышел Саша с окровавленным полотенцем, сделал знак — и все разошлись.

Никто больше ко мне не заходил, я сидел пригорюнясь и думал об Андрее Иваныче и его печальной судьбе. И еще о том, что я действительно осел и псих. Андрей Иваныч, может, помирает, и никто жалобы от него не слышал, а Вениамин Филатов, здоровый жеребец, только тем и занят, что суетится вокруг своей страдающей личности и сеет смуту. И еще недоволен, что Николаич, у которого лучший друг на глазах чахнет, волком смотрит! А за какие такие заслуги он должен мне улыбаться? За то, что я на Востоке придумал дать дизелю «прикурить»? Так это мне было по должности положено. А за что еще? Каждый божий день начальнику от меня беспокойство: он скажет да, я — нет, он — белое, я — черное... Ну, какого хрена лезу в бутылку? Взять тот самый самолет. Ведь кожей чувствовал, что правильно они тогда от него отказались, сам бы себя истерзал, если б летчики погибли, а выскочил, речи толкал! А почему? А потому, что боролся за справедливость: раз мне положено — клади на стол! Какая там справедливость! За Надю боролся, сил нет, как соскучился. Вот и получилось, что интерес мой был шкурный. Ладно, остались, вой не вой — ничего изменить нельзя. Николаич честно говорит, так, мол, и так, придется существовать на станции, где почти ничего интересного для жизни нет, а Веня Филатов — тут как тут: «Все хорошо, прекрасная маркиза!» Пухов на начальника бросается — Веня на подхвате, с дружеской поддержкой; Груздев бунтует — Веня радостно бьет во все колокола, Дугин слово скажет — Веня с цепи срывается.

Так за что он будет мне улыбаться? Да на его месте я сам бы такого типа не замечал! И тут меня озарило: я вдруг понял, почему на душе дерьмо.

А понял я это так: размечтался, представил себе, что входит Николаич, кладет руку мне на плечо и говорит: «Осел ты, Веня. Неужто не понимаешь, что не Дугина, а тебя люблю?»

Даже какая-то дрожь пробилась от этой фантазии: уж не есть ли это главная моя мечта? Саша мне как родной брат, Андрей Иваныча всем сердцем уважаю, и они ко мне

с отдачей, и это для меня крайне, просто исключительно важно. Но раз уж я сам с собой разбираюсь по большому счету, то мне в жизни не хватает одного: чтоб Николаич мне улыбался. Тьфу ты, улыбался — тоже слово придумал... Чтоб он в меня поверил! Узнал, что я считаю его самым железным мужиком, готов за ним куда угодно, а все, что болтаю против него, — это не мое, это потому, что он очень ошибается и любит Дугина, а не меня.

И еще в одном я разобрался: раньше я Женьку за человека не держал потому, что он на Востоке скрыл правду и смолчал, когда Николаич вешал на меня всех собак за аккумулятор; потом обнаружил, что Женька вообще подхалим, и стал его презирать, а когда узнал, что он спас Николаича, то к этому законному чувству приметалась черная зависть.

Кажется, полжизни отдал бы, чтоб спасти Николаича и стать его другом! А вместо этого стал кем? «Цыплячьей душой», как он обозвал, не называя фамилии!

Ну, вот и все ясно. А то — «заснуть бы па полгода... целых полгода сыреть в этой дыре...» Эх, Николаич, не знаешь ты, какого младшего кореша получил бы на все свои зимовки! Я ведь не Женька, который любит тебя, как прилипала акулу, я бы к тебе — бесплатно, всей душой!

Сидел я, мечтал, расслюнявился, войди сейчас Николаич — кажется, бросился бы ему на шею, повинился за все... Ну, конечно, этого бы я не сделал, но как-то по-другому посмотрел, что ли... Веня, дурья голова, двадцать шесть тебе стукнуло, а лаешь ты из подворотни на каждую телегу, как безмозглый щенок. Хоть бы Саша пришел, он смеяться не будет, он поймет...

Меня залихорадило, как случилось тогда, когда в голове из такого вот сумбура вдруг складывались и рвались на бумагу какие-то слова. Да знаю, что никакой я не поэт, это Андрей Иванов по доброте душевной намекнул, но для себя-то, для себя могу заполнить своим бредом тетрадку? Я вытащил ее из внутреннего кармана куртки, черкнул:

Что в душе моей творится —
Как мне это рассказать?
Если просто повиниться —
Сможешь это ты понять?
Я ведь не такой отпетый...

И тут вошел Дугин, черт бы его побрал! Я равнодушно зевнул и сунул тетрадку за пазуху. Дугин проводил ее глазами, усмехнулся, скотина.

— Сдавай вахту, Веня. Как у тебя, порядок?

— Порядок. Что Андрей Иванович?

— Заснул, вроде отлегло. Иди, пока чай горячий.

— Будь здоров, Женя. Очень мне жаль, четыре часа тебя не увижу.

— Топай, топай... поэт!

Я шел к выходу — будто споткнулся.

— Чего ты сказал?

— Топай, говорю, поэт! — Дугин развеселился. — Тетрадочку не потеряй, где «до свидания, дорогая, в имени твоём — надежда...».

У меня кровь брызнула в голову.

— В чемодан лазил?

— Ты что?! — Дугин сразу перестал смеяться. — Да начхать я хотел на твою тетрадку!

Я сослепу стал шарить по верстаку, что-то схватил; Дугин зайцем скакнул в кают-компанию, я следом, я себя не помнил: к нам со всех ног бежали, Саша меня скрутил, вырвал молоток, я что-то орал — а, противно вспоминать.

— Кто начал? — Голос Николаича, будто из подземелья.

— Он, — тут же откликнулся Дугин. — Но я тоже виноват.

— Разговор будет потом, — сказал Николаич, и я увидел, что рядом с ним в наброшенной на белье казашке стоит Андрей Иванович. — Дугин, на вахту. Саша, дай Филатову валерьянки.

Кругом стояли, смотрели ребята, Андрей Иванович... Я вырвался и полез наверх, на свежий воздух. Слышал, как Андрей Иванович звал: «Веня, зайди ко мне», потом Костин голос — до радостного визга: «Николаич, тебя Самойлов! Братва, „Обь!“ — но мне уже было все равно. В сумерках добрался кое-как по сугробам до наветренной стороны аэропавильона и там сжег тетрадку. Когда она догорала, подбежал Саша.

— Николаич коньяк выставил!.. Что ты наделал, лопух?!

— Плевать... Теперь мне на все плевать, док.

БАРМИН

Нужно знать Костю, чтобы понять, как нас ошеломил ого ликующий возглас. Костя в быту и Костя на вахте совершенно не похожи друг на друга. Стоит ему войти в радиорубку, и от его веселой общительности не остается и следа. Костя, который только что острил и подначивал товарища, мгновенно исчезает: вместо него за рацией священнодействует высокомерный и холодный маг эфира, обладатель сокровенных тайн бытия Константин Томилин. «Из тебя бы евнух отличный вышел! — кипятился Веня, большой любитель новостей, когда Костя выставлял его из рубки. — Будь я султан, оформил бы в гарем на полставки!»

Так вот, от этого Костиного вопля мы словно обезумели — такой надеждой от него полыхнуло. О Филатове и Дугине все мгновенно забыли. А Костя продолжал: «Братва, они нашли айсберг!» Николаич, забыв про свою обычную сдержанность, метнулся к микрофону, а Костя даже для виду не сопротивлялся, когда мы, чуть не сорвав с петель дверь, ворвались в радиорубку. Груздев, Пухов и Нетудыхата не успели одеться и дрожали от холода, но и остальные, кажется, тоже дрожали. Такого дикого, чудовищного возбуждения я еще в жизни не испытывал.

Костя умоляюще прикладывал палец к губам и делал страшные глаза.

— Нашли айсберг, Сергей, набрали на айсберг! — в мертвой тишине доносилось из микрофона. — В сорочках ты со своими ребятами родился, в сорочках! Такие айсберги раз в пять лет встречаются! Высота вровень с бортом, столообразная поверхность, идеальная взлетно-посадочная! Весь экипаж ходуном ходит... Стали на ледовые якоря, готовим «Аннушки» к выгрузке, ладим самолеты! Как понял? Прием!

— Понял тебя, Петрович, понял хорошо. — Николаич, улыбаясь, посмотрел на Костю, который начал вскидывать руки и беззвучно кричать «ура». — Спасибо, Петрович, спасибо всем. Все же проверь, не подточен ли айсберг, лишний раз проверить не мешает. Полоса у нас размечена, еще подчистим. Прием.

— Все проверили, Серега, айсберг как новенький! Через несколько часов надеемся вас снять... вас снять... Летят Белов и Крутилин, Белов и Крутилин... Каюты для вас готовим, черти! Черти, говорю! Братве ящик пива... Пива, говорю! Прием!

— Спасибо, Петрович, спасибо! — Николаич укоризненно погрозил пальцем Нетудыхате, который вдруг сел на пол и заплакал: — Ждем летчиков с нетерпением! До связи!

Он положил микрофон, вытер со лба пот.

— Летим, братцы, летим! — Костя выбил чечетку на месте. — Самому не верится, тьфу тьфу тьфу, не сглазить бы!

— Боишься? — засмеялся Николаич.

— Знаю я Антарктидушку, с характером женщина!

— Да уж, не любит случайных поклонников... Ну, Андрей... ну, ребята... — Николаич развел руками. — Валя! Тащи ее, заветную... Погоди, обе сразу! Все свои заначки — на стол!

Горемыкин всплеснул руками и куда-то исчез, а мы высыпали в кают-компанию, что-то нечленораздельное орал, обнимались и целовались.

Вдруг я увидел Дугина, радостного, счастливого, и меня что-то кольнуло: вспомнил про Веню. Я еще не знал, что у них произошло, но мне стало совестно, что в трудную для этого длинноухого минуту я бросил его одного. Первая мысль была такая: а, пусть на свежем воздухе остудит горячую голову, но унты уже сами несли меня наверх.

Нас встретил дружный рев. Николаич открывал, запотевшие бутылки, а Костя взывал:

— Старушке «Оби» гип-гип...

— Ура!

— Белову и Крутилину гип-гип...

— Ура!

— Косте Томилину гип-гип...

— Ура! — гаркнул по инерции Нетудыхата, и под общий смех Николаич стал разливать коньяк по чашкам.

Мы выпили за «Обь», за летчиков и за их удачу. Коньяк был ледяной — Валя, оказывается, прятал бутылки в вентиляционном ходу — и упал в желудок куском свинца, но быстро набрал тепло и взбудоражил кровь. Я толкнул Веню в бок: «Выше нос, карапуз!» — и Веня ответил слабой улыбкой выздоравливающего. Я уже все знал и очень его жалел. Ничего, обойдется, не такие раны молодость заживляет!

Димдимыч, и без коньяка малость опьяневший, дурачился:

— Официант! — капризным голосом. — Дюжину пива и воблу!

Костя набросил на руку полотенце, услужливо изогнулся.

— Гражданин клиент, с воблой неувязка.

— Па-а чему неувязка?

— Музей закрыт.

— Какой-то музей?

— Археологический, Гражданин, там последняя вобла в виде экспоната.

— Беза-абразия! — не унимался Димдимыч. — Жалобную книгу!

— Гражданин клиент, с жалобной книгой неувязка.

— Какая такая неувязка?

— Пингвин сожрал, — сделав по возможности тупое лицо, поведал Костя. И, не

выдержав роли, завопил: — Живем, братва! Николаич, пусть док несет свою канистру!

— Правильно, — поддержал Груздев. — Сидит на ней, как собака на сене. Сам начальник приказал ликвидировать заначки!

— Георгий Борисович, — с крайним удивлением констатировал я, — не верю своим ушам. Вы — изволите пошучивать! Вы — острите!

Груздев перегнулся через стол и доверительно заорал, перекрывая шум:

— Саша, идите ко всем чертям! Я получил слишком много положительных эмоций! Чем воспитывать подвыпившего Груздева, лучше тащите канистру или, на худой конец, изобразите кого-нибудь!

О канистре не могло быть и речи, а последнее предложение было поддержано с энтузиазмом.

— Давай, док, телефонный разговор!

— Тишину артисту!

— Микрофон, — потребовал я у Кости. — Кого приносим в жертву?

Под отчаянные протесты пострадавших жертвами были намечены Горемыкин и Нетудыхата.

— Алло, алло, Таю-юшенька! — Тонкому голосу повара я придал максимальную слащавость. — Это я, солнышко, твой Валя... Почему я приехал без телеграммы? Куда приехал без телеграммы? Я еще никуда не приехал... Я не с вокзала звоню, — я с Лазаревской звоню... Нет, не с той, которая под Сочи, а совсем наоборот... Да, в Антарктиде... Очень хочу видеть тебя и нашу ма-а-ленькую козочку, но сейчас никак не могу. У нас проводится важный научный эксперимент...

— Сможет ли человек выдержать две зимовки подряд, — подсказал Груздев.

— Это не я сказал, — продолжал я сюсюкать в трубку, — это у нас здесь один шутник завелся. Да, клоун. Я очень жалею, но придется чу-уточку задержаться. Ну, может быть, на годик. Всего один ма-а-ленький годик... Что женщины? Какие женщины?

Среди общего смеха выделялся чуть визгливый смех Пухова.

— Что ты говоришь, откуда здесь может быть женский смех? Это смеется наш аэролог Пухов. Он не очень похож на даму. Таю-юшечка, поверь, здесь нет никаких женщин, не считая пингинок... Что? Да не блондинок, я тебе говорю, а пингинок! Даю по буквам: повидло, имбирь, навага, Груздев, витамины, Иван Нетудыхата... Алло! Ну, вот, не верит, бросила трубку...

— Дон-Жуан! — набросились ни Горемышина.

— Изменщик!

— Але! — пробасил я в трубку и все стихли. — Оксана? Це я. (Нетудыхата погрозил мне кулаком.) Ну, а хто ж... Да з Антарктиды, щоб ее перекорочило... Чего до дому не иду? Та билетов у кассе не мае... Та я шуткую, пароход наш скрозь лед не може пробиться. Що? Лед ломиком можно продолбать?.. Але! Насчет мне не волнуйсь, условия у нас, як у городе. Да, и телевизор и ванная, по субботам концерты, футбол, а як же... Ну, бывай, тут щец принесли рабочему человеку...

Николаич встал, поднял руку.

— Минутку внимания, друзья... С удовольствием продлил бы застолье, но время не терпит. Скориков, держать непрерывную связь. Нетудыхате, Дугину и Филатову подготовить дизель к консервации. Всем остальным — на расчистку полосы.

В последние дни почти не мело, и полоса, размеченная бочками, была в хорошем

состоянии. Мы еще разок прошлись по ней для успокоения совести и отправились домой.

Самолеты уже вылетели, часа через два они будут здесь. Николаич приказал слить воду из системы отопления, на станции стало прохладно и неуютно. Вещи ребята упаковали, вытащили их в каюткомпанию, которая сразу потеряла свой обжитой вид и превратилась в зал ожидания. Люди переговаривались, смеялись и украдкой поглядывали на часы. С каждой минутой холодало. Я уложил Андрея Иваиыча в постель, хорошенько его укутал и пошел с Нетудыхатой покрывать брезентом тягачи: им предстояло мерзнуть в одиночестве целый год. Когда я вернулся, в каюткомпании готовились к чаепитию, а у постели Гаранина сидел Груздев.

— На кого вы меня оставили, Саша? — пожаловался Андрей Иванович. — Этот сухарь не позволил мне последний раз навестить метеоплощадку.

— И правильно сделал, — одобрил я, скрывая тревогу за вымученной улыбкой. Андрей Иванович тяжело дышал, почти непрерывно покашливая.

— Вот видите. — Груздев взглядом поблагодарил за поддержку. — Мы, доктор, ударились в философию. Или, если менее торжественно, спорим о терминах. Я вслед за Декартом утверждаю: жить — значит мыслить, а мой оппонент главным признаком жизни полагает действие.

Я зажег спиртовку и поставил на нее стерилизатор.

— Да, я именно так считаю, — подал голос Андрей Иванович. — Это не пустой спор о терминах, Саша. Пока я дышу, я хочу чувствовать себя живым среди живых, хочу двигаться, говорить, хохотать во все горло, как Веня и Костя, если мне смешно. Ведь это — право каждого живого человека, понимаете?

— Беспокойного больного вы заполучили, доктор, — заметил Груздев.

— Ну, какой я беспокойный, — с извинением в голосе сказал Андрей Иванович. — Просто хочется... помечтать.

— Это мне понятнее, — кивнул Груздев. — В каждой мечте, если она реальна, есть шанс.

— Вот именно онто, этот шанс, мне и нужен, но не нужно мне шанса, ради которого придется следить за каждым шагом, ежечасно щупать пульс, прикидывать, что можно, чего нельзя. Разве только продолжительностью измеряется ценность человеческой жизни?

— И этим тоже, Андрей Иванович.

— Может быть... Хотите притчу? Сережин и мой старый товарищ, Иван Гаврилов, както рассказывал, какая странная мысль однажды пришла ему в голову. Случилось это при таких обстоятельствах. Он перегонял с Востока в Мирный санногусеничный поезд... да вы сами помните тот поход, когда они чуть не погибли; Гаврилова тогда приковала к постели сердечная недостаточность, а ему очень важно было прожить хотя бы месяц, чтобы довести поезд. И он подумал: вот бы человеку жить так, как живет электрическая лампочка, гореть всюю — и сразу погаснуть, когда придет время... Этот принцип и мне по душе, никакого другого мне не нужно.

— Предпочитаю гореть вполнекала и дожить до пенсии, — пошутил Груздев.

Андрей Иванович шутки не принял.

— В вас, Георгий, словно сидят два человека, — после короткой паузы проговорил он. — Один — готовый в любую минуту броситься в горящий магнитный павильон, чтобы спасти приборы, — вот они, следы ожогов на ваших руках! — и другой, который без приказа не напилит снегу для воды.

— Одно другому, кстати, не мешает, — хмуро ответил Груздев. — И все это определяется математически емким понятием: целесообразность. Все, что вы говорите, Андрей Иванович, — это всего лишь слова, простите, и не более того. Но мы живем в мире реальных фактов, и поэтому факты и только факты должны определять логику поведения человека. У меня впереди защита диссертации, ее результаты, надеюсь, могут оказаться полезными. Именно поэтому я и старался спасти приборы и документацию во время пожара. А теперь посудите сами, что важнее для общества: моя малоквалифицированная работа по заготовке снега, которую могут успешнее выполнить другие, или практическая реализация моей научной деятельности?

— Опасная логика... Вы страшный человек, Георгий.

— Скорее трезвый.

— Иногда это одно и то же.

Я снаряжал шприц и не вмешивался в разговор. Черты лица Андрея Ивановича все больше искажались, его терзала сильная боль. Он прикрыл глаза, и по моему знаку Груздев покинул комнату. Когда он приоткрыл дверь, из каюты компании донесся смех, показавшийся мне кощунственным. Я сделал укол, и Андрей Иванович задремал.

— Спит?

Я вздрогнул, за моей спиной стоял Николаич. Я кивнул.

— Дотянет, Саша?

— Надеюсь. — Я не мог смотреть ему в глаза. — Во всяком случае должен.

— Сделай, Саша, чтобы дотянул! — по-мальчишески, умоляюще прошептал Николаич. — Сделай!

— Надеюсь...

Николаич отвернулся.

— Что вы можете, доктора!

— Пока немного, друг мой, но наше «немного» — это тоже кое-что.

— Кое-что... — Николаич махнул рукой. — Эх ты, наука!.. Иди, Саша, я с ним побуду.

— Николаич, Веня...

— Знаю, допросил Дугина.

— Скажи Вене два слова...

— Уже сказал. Сегодня такой день, когда все грехи списываются. Ладно, Саша, иди.

— Помогите-ка мне встать, — послышался голос Андрея Ивановича. — Навалили тут центнер одеял... Пошли к ребятам, там веселее.

В каюту компании шло чаепитие. Валя щедро выставил на стол всю свою «заначку»: копченую колбасу, несколько банок крабов, шоколад и вишневое варенье.

— Когда я в первый раз шел в Антарктиду, — прихлебывая чай, басил Нетудыхата, — соседи пытали Оксану: «Куда это твой собрался?» «Куда-то, — говорит, — вниз, на самый юг». А они: «Смотри, на юге завсегда баб много!»

— Хочешь, подарю из моей галереи? — Веня окинул любовным взглядом красоток в бикини, насмехавшихся над нами со стен. — Похващаешься!

— Разве это девки? — Нетудыхата пренебрежительно отмахнулся. — Ноги как ходули. Вот у нас в селе девки так девки, от одного бока до другого ходить надо.

— Иван Тарасович, — Пухов поморщился, — разве можно оценивать женщину на вес?

— Тише, — воззвал Костя, — послушаем настоящего знатока!

— Какой я знаток, — заулыбался Пухов, — уступаю эту честь Вене. Лично я превосходно обхожусь без их общества. Вот доктор подтвердит, что отсутствие раздражителя, каковым является женщина, вносят особый колорит в жизнь полярников.

— Не подтверждаю, — честно глядя на Пухова, возразил я.

— Как так? Ведь это ваша точка зрения, вы ее сами развивали!

— В начале зимовки.

— Ну, знаете ли, — возмутился Пухов, — на мой взгляд, принципы должны оставаться неизменными в течение всей зимовки.

— Только не в отношении женщин.

— Оставьте, доктор, я всерьез.

— Вы когда-нибудь видели меня несерьезным, Евгений Палыч?

— Простите, Саша, тысячу раз. Вот и сейчас вы серьезное обсуждение вопроса о женщинах превращаете в балаган.

— Разве я шушу? — Я мысленно представил себе Нину, услышал топот ее каблучков по асфальту причала и продолжал с веселым вдохновением: — Женщина! Ведь это же прекрасно, Пухов! Разве вы не чувствуете себя другим человеком, когда в вашу жизнь входит женщина? Разве в эту священную минуту вы не осознаете себя сильнее, умнее, красивее? Разве у вас не появляется ощущения, что вам под силу великие дела и гениальные открытия? А какие замечательные порывы рождаются в вашей душе рядом с женщиной, какие слова приходят на ум, какие мелодии! Скажите мне, что это не так, и я возьму свои слова обратно, Пухов!

— Демагог вы, доктор, — проворчал Пухов и добавил под общий смех: — Никогда больше не буду вступать с вами в серьезный разговор.

— Вот вам и «особый колорит», — передразнил Веня. — Может, для вас, Палыч, это колорит, а для нас сплошная мука. Андрей Иванович, а долго будет это безобразие продолжаться?

— Какое безобразие? — Андрей Иванович явно повеселел, ожил, и я порадовался, что мы привели его сюда.

— Ну, мужской континент и этот самый колорит.

— Долго, Веня. Давай сначала обживем Антарктиду, а потом уже пригласим сюда наших жен. Придет время, и мы построим здесь дома, школы, больницы...

— Пингвинам аппендиксы вырезать, что ли?

— Смотри шире, Веня, смотри шире! Человечество не столь богато, чтобы швыряться четырнадцатью миллионами квадратных километров суши. Когда-нибудь на месте наших крохотных станций вырастут города, и наши потомки вспомнят о тех, кто обживал этот материк, кто был первым. Вспомнят тебя, Веня, и помянут тихим, добрым словом.

— Меня — сомневаюсь, — Веня хохотнул, — а вот Костю наверняка, На тысячелетия память о себе оставил.

— Брось трепаться, — испуганно пробурчал Костя.

— Когда мы пришли на озеро Унтерзее, — продолжал Веня, — пообедали, гляжу: Костя куда-то исчез. Пошел искать. Слышу стук какой-то, иду на шум: стоит Костя, от усердия язык набок свесил и зубилом на скале высекает: «Здесь был Костя Томилин!»

Из радиорубки высунулся Скориков, пошарил по кают-компании глазами, кивнул Николаичу. Тот спокойно встал и не торопясь пошел в рубку.

Мы переглянулись. Никто ничего не сказал, но лица у людей вытянулись. Мы стали

необыкновенно чуткими к нюансам. Ну, позвал Димдимыч начальника на связь: что здесь такого? Раз самолеты летят, связь должна быть непрерывная... Погода отличная, полоса — как танцплощадка, хоть пляши на ней! Ничего вроде бы произойти не может, а лица вытянулись, улыбки замерзли.

В коротком кивке Димдимыча, в спокойной, даже чересчур спокойной походке Николаича мы уловили тревогу.

Веня хотел было повторить свой фокус — подсунуть под дверь рукавицу, но Андрей Иванович сказал:

— Не надо, Веня. Потерпи, скоро узнаешь.

— Кто еще чай пить будет? — излишне бодрым голосом спросил Горемыкин. Ему никто не ответил.

— Чего они там? — не выдержал Пухов.

— Наверное, играют в шахматы, — попытался пошутить Груздев.

Семенов тщательно прикрыл дверь и взял микрофон. Слышимость была хорошая, и разговор шел по радиотелефону.

— Слушаю тебя, Петрович, прием.

— «Аннушки» в полете, Сергей, «Аннушки» в полете... Машина Крутилина барахлит, машина Крутилина барахлит... Настраивайтесь на УКВ, на их волну... Настраивайтесь на ультракороткие... В случае чего примите возможные меры... возможные меры...

— Понял тебя, Петрович, понял... Что с Крутилиным?

— Что то с двигателем, Крутилин теряет высоту, теряет высоту... Трудно отпускает Антарктида, Сергей, трудно... До связи.

БЕЛОВ

До чего ж она тонкая и ненадежная — ниточка, на которой раскачивается человеческая судьба! Как подумаешь, от каких случайностей она зависит, — даже весело и страшно становится. Ну, бывают обстоятельства, которые сильнее нас и против которых не попрешь — скажем, такие явления природы, как ураган, цунами, землетрясения и тому подобное: здесь от тебя требуется только надеть чистое белье (если успеешь) и верить в счастливую звезду. Но ведь случается, что от пустяка — от взгляда, одного лишь вскользь брошенного взгляда, судьба зависит! Покосился налево — одна судьба, направо посмотрел — совсем другая...

Летел я однажды на ЛИ-2 из Хатанги в Певек и приземлился на ночлег в Чокурдахе. Устроились мы в летной гостинице, пошли ужинать и услышали в столовой разговор: где то в районе Хромской губы на берегу Западного залива попала в беду группа геологов, с которыми три недели назад прервалась связь; летал туда ПО-2, но сел на вынужденную, еле вытащили экипаж; много раз летали другие, но не нашли. А шесть человек геологов недели две сидят без продовольствия и топлива, если еще живы, конечно. Послушали мы, переглянулись и единодушно решили влезть в эту историю: во-первых, потому, что был у нас не какой-нибудь «кукурузник», а ЛИ-2, а во-вторых, район Хромской губы я знал, как свою биографию: два сезона проработал там с изыскателями и так им угодил, что одному озеру, в котором было рыбы больше, чем воды, присвоили мое имя. Геологическое начальство чуть не в слезы: «Братцы, родные, выручайте!» Запросили разрешение, изучили обстановку, полетели.

Э, думаю, провожают нас объятиями и поцелуями, а как встречать будут? Знал то

я Хромскую губу в марте — апреле, а нынче на дворе декабрь — очень, товарищи, большая разница. Полярная ночь, луна светит на все конфорки, а внизу темень, глухая и непробиваемая. Полетали часов пять, запас осветительных ракет истребили, все глаза проглядели — никого и ничего, а ведь если б услышали геологи самолет, костер бы развели, на то весь расчет был... А может, не из чего им тот костер жечь? Делали поисковые галсы до последней копейки, а когда бензина в баках осталось прилететь домой, взяли курс на Чокурдах. Летим в отвратительном настроении, рычим друг на друга, и вдруг мне померещился внизу светлячок. Круто развернулся, прошел обратно — тусклый, крохотный, но светлячок! Запустили последнюю ракету — они! Бегают по берегу, руками размахивают — показывают, куда мне садиться. Ракета погасла, пошел на посадку почти что вслепую, машину затрясло, стало швырять туда-сюда, ну, думаю, погубил самолет. Плохо дело, но зато рация имеется, неприкосновенный запас продовольствия, как-нибудь выкрутимся и людей спасем. Сделал два десятка «козлов», удержал машину, глянул на след — батюшки! Камни, выбоины, ропаки — на что садился?

А геологи дошли окончательно, двое уже не вставали, а остальные еле ноги передвигали: продовольствие и топливо давно кончилось, жевали ремни и принялись за унты. Оборвались, обморозились, прощались с жизнью. Когда услышали самолет, последние остатки топлива слили в консервную банку и подожгли — тот светлячок я и увидел... Соорудили мы с грехом пополам подобие полосы, усадил я их, заросших, черных, привез в аэропорт, там их встретили, обогрели и отмыли... Ну, а все остальное уже неинтересно, пошла лирика. Только ребята потом смеялись, вспоминая, как Белов садился... по консервной банке.

Так случилось и у нас на «Оби»: не усмотри Петрович среди тысячи айсбергов тот обломок шельфового ледника, проскочи мимо — зимовать бы Сереге и его братве второй год от звонка до звонка. И еще повезло: море было как скатерть, ветер упал почти что до нуля — тоже один раз в високосный год бывает в этих широтах. Подошла «Обь» к айсбергу впритирку, прижалась к нему, как жеребенок к кобыле, при посредстве ледовых якорей, и мы, ловя миг удачи, быстренько выгрузили стрелами «Аннушки» на природой созданный авианосец длиной метров четыреста и шириной полтора. В буйных мечтах лучшей полосы не вообразишь, во сне не увидишь!

— Поторопись, пока черт спит, — напутствовал меня Петрович. — Учти, ежели заштормит, убегу я от этого айсберга так, что пятки засверкают! Зимовать тебе тогда со своим другом Серегой.

Честно говоря, очень нам не хотелось торопиться — бортмеханики спали и видели в моторы залезть, поправить сбрую. Дело прошлое — открою вам один секрет, про который знали только мы с Ваней Крутильным да наши экипажи.

Прошедший сезон был для «Аннушек» на износ: месяца три без выходных мы обслуживали геологов и гляциологов, возили их по куполу из одной географической точки в другую, каждый день производили аэрофотосъемку, садились куда придется и взлетали па святом духе. Словом, досталось «Аннушкам» на орехи; бортмеханики в ногах валялись, клянчили хоть неделю на профилактику, а я им не то что неделю, дня дать не мог: полетела бы к черту программа. Понадеялся, что займемся профилактикой в море, подчистим двигатели и подтянем упряжь — куда там! Что ни день, штормило, экипаж — в лежку, да еще мело, било сырой крупой: не только моторы, лица открывать не хотелось.

Вот вам и наш секрет: ресурс у «Аннушек» был на исходе, а по документам часов сорок назад кончился, и не профилактика уже была нужна, а капиталка. И прикажи нам лично сам господь бог лететь, скажем, на аэрофотосъемку или с геологами на россыпи драгоценных камней (не ухмыляйтесь, сам на Беллинсгаузена и Новолазаревской подобрал горный хрусталь, гранаты и аметисты), мы бы в ответ зевнули с подвыванием: нате, взгляните на документы своим всевидящим оком, вылетали мы ресурс. Но совсем другое дело — вытащить ребят с Лазарева, здесь нам с Ваней документы обнародовать не обязательно. Тем более что пошел по кораблю скверный слушок, что Андрей схватил то ли чахотку, то ли еще похуже: тут уже вместо двигателя примус поставишь, а полетишь. Так что вопрос «лететь или не лететь», как говорится, на повестке дня не стоял. Ну, конечно, скребли на душе тихие кошки, но если к ним, сволочам, прислушиваться, лучше тогда сложить крылышки и продавать в киоске газеты. Когда собираешься в полет, все сомнения положено оставить на земле, там они будут сохраннее. Этой мудрости меня научил мой комэск Спиридонов, который любил рассуждать так: «Лично я всегда уверен, что никакой немец сбить меня не может. Даже подобия такой мысли не допускаю! Как это так, меня — и вдруг сбить? Ерунда собачья! Так что, гаврики, признавайтесь, пока не поздно: если у кого есть такое предчувствие — оставайся сегодня на земле; раз боишься, будешь строить из себя такого зайца, что обязательно приложат». Подожгли все таки Мишу Спиридонова над Таманью — вечная память, — но к этому дню было у него на фюзеляже девятнадцать звездочек, дай бог всякому!

Ладно, ничего не поделаешь, будем спешить. Залили мы полные баки, прогнали моторы, полетели на высоте четыреста метров — курс на Лазарев. Гриша Самохин, мой бортмеханик, как всегда в начале полета, отрешенно прислушивался к двигателю и озабоченно чмокал губами, демонстрируя работу мысли. Чмокнув в последний раз, он показал мне три пальца и один полусогнутый — значит, по мнению этого перестраховщика, двигатель за свое поведение заслуживает тройки с минусом. Я тут же скорректировал минус на плюс, обменялся свежими новостями с Ваней, который своему тяглу тоже поставил твердых три балла, и стал спокойно делать законные два с половиной километра в минуту.

Всего этих километров до Лазарева было триста семьдесят. Сначала шла полоса дрейфующего льда, через которую «Обь» продралась несколько часов назад, дальше минут пять мы летели над чистой водой, а потом началось то самое гигантское ледяное поле, километров на двадцать пять в поперечнике. Для ради удовлетворения любознательности я снизился до ста метров и пролетел над теми местами, где Петрович калечил «Обь», — они запомнились по двум пирамидальным айсбергам, которые вмерзли в поле и возвышались наподобие рыцарских замков. Петрович был абсолютно прав: пробить такое десятибалльное поле мог разве что атомный ледокол, да и то в случае крайней нужды; северная часть образовалась из смерзшихся несяков, и, сколько хватало глаз, поле щетинилось торосами. И лишь далеко южнее, куда «Обь» ни за что бы не пробилась, оно стало более или менее ровное, пригодное для сооружения полосы. Нужно будет Мастера порадовать, решили мы с Ваней, пусть знает, что он гениальный. И еще одна догадка Петровича подтвердилась к нашему превеликому сожалению: все это поле оказалось оторванным от материка припаем, потому что дальше пошла чистая вода.

Вот чего я в самом деле не люблю, так это лететь на одномоторном самолете над

открытым морем. Не потому, что я такой изнеженный и капризный, а просто не лежит душа из-за одного обстоятельства: откажет единственный мотор — и некуда сесть, товарищи пассажиры. Если по той или иной причине «Аннушка» захочет перевести дух и отдохнуть, на поверхности она пробудет не больше, чем булыжник, ибо плавучесть ее равна нулю. Когда в сорок третьем мой ЯК задымил над Черным морем и категорически отказался планировать, я плюхнулся на парашюте в соленую воду и пропитывал ею организм до тех пор, пока морячки не втащили меня в катер. С того случая я испытываю, быть может, не всем понятное, но исключительно стойкое отвращение к чистой воде, которое тем сильнее, чем дальше ближайшая суша. Поэтому, как только началось открытое море, я то и дело поглядывал на Самохина, который сидел на месте второго пилота, чмокал губами и на слух прощупывал у двигателя пульс. Три пальца с двумя закорючками — и на том спасибо!

На полпути до Лазарева я решил, что рехнулся, — суша! Не поверил своим глазам, обернулся к Диме Желудеву, тот ошарашенно смотрит на карту. А в шлемофоне Ванин голос: «Ты куда меня завел, Сусанин?» Желудев сунул мне карту под нос: — Курс правильный, не иначе айсберг, Кузьмич! Сумерки, видимость хреновая, включил фары — ну и чудовище! Такого гиганта я еще не видел, конца края нет, не айсберг, а целое государство по морю бродит. На всякий случай занесли на карту: если что, на таком острове преотлично можно отсидеться. Старая привычка: когда лечу, зыркаю глазами по сторонам, фиксирую местечки, сколько-нибудь пригодные для посадки. Даже размечтался: хорошо бы протянулся этот бродяга до самого Лазарева! Так нет, километров через пятнадцать показал нам айсберг свою спину, снова началось море, и я с некоторой грустью полетел дальше, испытывая ощущения циркача, работающего под куполом без сетки.

А минут через сорок поймал себя на том, что чувствую какую-то тревогу. Прислушался к мотору — не хрипит, штурвал податливый, как ручной, а все-таки нет на душе спокойствия, будто точит ее паршивый червячок. Очень мне не понравился этот червячок. Появлялся он в моей жизни, насколько помню, три раза, и всякий раз интуиция меня не обманывала: дважды, когда сбивали, и во Вторую экспедицию, когда летел на Восток с грузом фанеры. Почему появлялся червячок, откуда и по какой причине — убей, не пойму: может, все дело в сомнении, которое не пожелало остаться па земле и спряталось в укромном уголке мозга. Правда, сбивали меня на законном основании: первый раз не вышел сгоряча из боя, хотя расстрелял все боеприпасы, а второй — дотягивал, как пелось в популярной песне, «на честном славе и на одном крыле», с почетным эскортом из двух «мессеров». А с фанерой, будь она проклята, произошла такая история. Везли мы ее на сброс, потому что на Востоке было за шестьдесят градусов и о посадке не могло быть и речи: сесть-то, сядешь, а как взлетишь? Над расположением станции открыли грузовой люк, хотели сбросить фанеру, а она застряла! Парус! Я изо всех сил штурвал на себя, но куда там, вот-вот спикирую! Инструктор, руководивший сбросом, замер в столбняке, а Боря Бродов, мой тогдашний штурман, повис на шнуре — том самом, которым парашютисты пользуются перед прыжком, — и ногами эту фанеру, ногами! Вытолкал — спас самолет и его славный экипаж... А теперь скажите, откуда мой червячок мог знать, что фанера застрянет? А ведь знал, мерзавец, точил!

Значит, стал я продумывать, почему испытываю какую-то неуверенность и даже тревогу. Ну, ресурс выработан — это, конечно, не вдохновляет; однако и не на такой

рухляди с песней летали... Открыто? море? Тоже понятно, но и такое сто раз бывало в нашей прекрасной жизни... А может, это и мой ресурс выработан? Может, пора уступать штурвал жизнерадостному атлету со свежими сосудами и без признаков гипертонии? Держи карман шире, мой организм пока что вполне устраивает и меня самого, и врачей, и неувядаемую супругу Анастасию Ильиничну.

И тут словно током пробило: вот уже несколько минут я не слышу ведомого!

— Ваня, чего молчишь?

— Разбираемся... Не хочу раньше времени тебя пугать.

— Что у тебя?

— Сами не пойдем... Наверное, поршневые кольца... Коля, развернись, посмотри ка, что там у меня делается!

Из коллектора Ваниной машины вырывались броски черного дыма.

А лететь еще было минут тридцать... Понятно, почему я не люблю открытое море?

— Подбирай высоту, Ваня!

— Не могу... Тягло то у меня одно, и оно не тянет!

Я летел сзади, морально его подстраховывая, хотя цена такой страховке была ломаный грош.

— Как ераплан, Ваня?

— Трясет чертову кобылу!

— Скажи, пусть облегчает машину, Кузьмич! — проорал мне Самохин. — С кольцами у него или клапана прогорели!

Молодец, спасибо, поставил диагноз! «Больной перед смертью не икал?» Толку то что? Наверное, поршневые кольца. В их канавках скопился нагар, кольца потеряли эластичность и не прижимались к зеркалу цилиндров... А может, прогорели выпускные клапана — хрен редьки не слаще: в обоих случаях неполное сгорание смеси, потеря мощности двигателя...

— Скорость, скорость удерживай! Сбрасывай спальные мешки, коробки с НЗ!

— Сбросил...

— Ну?!

— Иду на самолюбии, Коля, теряю высоту...

— Держись, Ванюха! До барьера по расчету двадцать пять километров!

— На двадцать пять больше, чем мне нужно... Скоро будем эфтим местом воду черпать!

— Облегчай ераплан! Шубы сбрасывай, Ваня, унты!

Ваня уже потерял метров сто и теперь шел на высоте двести пятьдесят метров. Скорость у него упала со ста пятидесяти до ста двадцати километров в час, дальше падать некуда — разве что в море... Типун мне на язык, тьфу тьфу тьфу... Как оно называется, черт бы его побрал... Да, море Рисер Ларсена... Температура воды минус полтора градуса... А планировать с такой высоты «Аннушка» может... Ни черта она не может... Несколько сот метров! Продержись, родной, молился я, еще десять минут!

— Сбрасываешь, Ваня?

— Все сбросил... В одних кальсонах прилетим...

— Вижу барьер! Еще немножко, Ваня!

— Тяну...

— Давай, давай, Ваня!

Вот она, желанная, любимая... В жизни так не радовался при виде Антарктиды!

- Заходи с западной стороны, Ваня, там барьер ниже!
- Есть с западной стороны...
- Тянешь?
- Теперь дотяну!
- Ваня, давай хором: «Помираю ать нам рановаю то...»
- Пошел к черту!
- Иду! Полосу видишь?
- Вижу.
- Не оставляй любовь на старость, а торможение на конец полосы!
- Спасибо, дай потом записать!

Одна за другой «Аннушки» приземлились на полосу. К машине Крутилина бежали люди с каэшками и унтами.

СЕМЕНОВ

Из каюты компании доносились возбужденные голоса; я прикрыл дверь плотней, мне казалось, что я физически ощущаю чудовищное напряжение, которое пронизывало находящихся там людей.

— Слышишь, Ваня? Они уже одной ногой на Большой земле.

Белов и Крутилин пили чай, крутой и крепкий, почти что чифирь; Крутилин резко отставил чашку и обратил ко мне осунувшееся лицо.

— Не уговаривай, Сергей, я не девочка. Когда летел над открытым морем, так вспоминал дедушку, бабушку и председателя месткома товарища Мышкина!

— Так ведь долетел, Ваня? — с наслаждением прихлебывая чай, подал голос Белов.

— Без груза.

— Самолет можно еще облегчить, — напомнил я. — Вспомогательный движок скинуть, вот тебе сто килограммов.

— Капля в море.

Я готовился к этому разговору уже тогда, когда бежал с унтами к самолету Крутилина. Я чувствовал себя преступником. Передо мной сидел не остывший от пережитой опасности друг; он был опустошен, в его мозгу кинолентой прокручивались видения получасового полета на дымящей «Аннушке», и едва лишь он поверил, что остался жив, как его снова заставляют садиться за штурвал. Но другого выхода у меня не было.

— Выкарабкивался ты, Ваня, из переделок и почище. Помнишь, как в Мирном садился на одной лыже?

Лицо Крутилина порозовело.

— Было дело... — но без удовлетворения припомнил он.

— А помнишь...

— Но тогда я только своей шкурой рисковал...

— Мы с Андреем были у тебя на борту.

— Так вы свои...

— Ручаюсь за ребят, они согласны.

— Год отзимуешь, на что угодно согласишься, лишь бы домой... Не помешай ты нам, Сергей, прилететь за тобой на ЛИ-2 — не было бы этого разговора. Себя вини.

— Запрещенный прием, Ваня. Сам знаешь, чем мог закончиться тот полет.

— Моторы остынут, поэты! — нетерпеливо возвестил Белов.

— Разогреем, — отмахнулся я. — Так летим, Ваня?

— Видишь, сивый клок? — угнетенно спросил Крутилин.

— Ну?

— Час назад он был черный, как уголь!

— Ай ай ай! — Белов насмешливо поцокал языком. — В любой цирюльне тебе за трешку такой вороной блеск наведут!..

— Люди устали, Ваня, очень устали.

— Хотят вместе со мной у Нептуна отдохнуть? — Крутилин становился все мрачнее.

— Тягло то у меня одно — и оно не тянет! Сообразил?

— Сдавайся, Ваня. — Белов похлопал его по плечу. — В случае чего на тот айсберг сядем, что на полпути. Снимай с ераплана всякую дребедень.

— Может, последние штаны прикажешь снять?

— А что? — с бесшабашной веселостью откликнулся Белов. — Механики тебе из консервной банки такой фиговый листок заделают, что Аполлон позавидует!

— Кончай канитель, Сергей, — устало проговорил Крутилин. — Нас два экипажа, итого восемь душ. Снаряжай Андрея и еще одного — двух, из тех, кого на раз курнуть осталось, и поехали. Выручал я тебя, когда мог...

— Значит, восемь человек останутся зимовать второй год...

Несколько часов назад я был бы счастлив, узнав, что смогу эвакуировать троих. Я и сейчас счастлив, что Андрей в любом случае улетит, он, безусловно, откроет этот краткий список. Кто кроме него? Конечно, Пухов — это два, от него я избавлюсь с особым удовольствием. Груздев?.. Нет, Груздев останется, Нетудыхата больше заслужил право на Большую землю. Они улетят. Для всех остальных жизнь превратится в сплошную муку, много месяцев пройдет, прежде чем исчезнет боль от такого удара. Слишком частым был переход от надежды к отчаянию, от отчаяния к надежде. Вспомнился Пухов, его крик: «Человек не рояль, Сергей Николаич, на нем нельзя играть!» Я представил себе, как войду сейчас в кают — компанию и скажу — ударю в душу, разобью в кровь, уложу наповал... Тошно мне стало от этой мысли.

— Зимовать второй год, — повторил я. — У меня, Ваня, нет власти заставить тебя лететь. Но не думаю, что там, на Большой земле, тебе будет легче от этого.

— Имей же совесть, Сергей! — с горечью воззвал Крутилин. — Мы и сюда летели — закон нарушали: на двух одномоторных над открытым морем. Ведь даже если долетим, начальство из меня лапшу резать будет. Не видать мне больше неба!

— Шевелев с нами, полярниками, пуд соли съел. Он поймет, Ваня.

— Как хочешь, не могу, — решительно отрезал Крутилин.

— Вот — вот, заштормит, Серега. — Белов встал, задернул «молнию» куртки. — «Обь» уйдет от айсберга, и тогда нам хана, будем зимовать вместе. Давайте, гаврики, ставить точку.

Коля меня поразил — я ждал от него другого. Я посмотрел ему прямо в глаза — в них читался какой — то намек, обещание! Наверное, так просто казалось, и было это только сочувствие: «Хотел бы тебе помочь, но не могу, сам видишь — не могу». Что ж, давайте — только не точку, восклицательный знак я поставлю! Нас трое в этой комнате, и все мы правы: Ваня в том, что не хочет лететь на машине, которой больше не верит, Коля в том, что времени больше нет, но я тоже прав. Горько тебе Ваня, станет от этой

правды...

— Что ж, Ваня, — сказал я, — что ж, дорогой ты мой Иван Петров сын, тогда вместе с экипажем ты будешь зимовать здесь, со мной.

Крутилин изумленно развел руками.

— Ну, даешь ты, Серега, ну, ты даешь!

— Надеюсь, — я стал максимально резок, — ты не станешь отрицать моего права на такое решение?

— Воля твоя, но с людьми все равно не полечу.

— Решено, — кивнул я. — Сколько возьмешь на борт, Коля?

— Шесть гавриков и по шесть кило барахла на брата.

— Бери семь без всякого барахла.

— Заметано.

Крутилин смотрел на меня невидящими глазами.

— Ты это всерьез, Сергей?

— Куда уж серьезнее, Ваня. Твои ребята только полгода не видели Большой земли, а половина моих уже на пределе.

— Что ж, — горестно проговорил Крутилин. — Прозимуем, Сергей Николаич, авось не впервой... Пойду ребят обрадую...

— Летим, Ваня, где наша не пропадала! — вскинулся Белов, и в его глазах я вновь увидел тот самый намек. — Бери четверых, остальных я дотащу.

Крутилин покачал головой.

— Привык ты лихачить, Коля! Тебе что, тебе Шевелев все простит, а мне за эти полеты такие ордена пропишет!..

Белов засмеялся.

— Так у меня уже вся трудовая книжка в его орденах! Строгачом больше, строгачом меньше... Да и Свешников нас не даст в обиду! Я тут прикинул, что у тебя еще можно снять, слушай и мотай на ус: ну, вспомогательный движок с генератором и щитком — сразу килограммов сто двадцать, газовую плиту и баллон с газом — еще чуть не центнер, кресло второго пилота ко всем чертям — Антарктиде на память, электрическую печку! Инструментов килограммов тридцать! Сдавайся, Ваня!

— Был бы я один... — Крутилин мучительно колебался. — Нет, не возьму греха на душу.

Сразу сгорбившись, он пошел к дверям. Белов неожиданно мне подмигнул, я никак не мог понять, куда он клонит.

— Погоди, торопыга, — остановил он Крутилина. — Я полечу на твоём драндулете. У меня народ битый, вытянем.

Крутилин замер, медленно обернулся, лицо его пылало.

— Смотри ты, дым из глаз идет! — развеселился Белов.

— Сукин ты сын, Колька... — Крутилин возвратился, сел на стул. — Ниже пояса бьешь, стервец... Ладно, Серега, зови нотариуса.

— Вот это по-нашему! — Белов радостно захохотал. — Давно бы так, чего Ваньку валять!

Я обнял Крутилина.

— Век не забуду, Ваня.

— Ты еще этот век проживи. — Крутилин высвободился, мрачно усмехнулся. — Если, конечно, со мной, а не с Колькой полетишь, гражданин кандидат каких-то наук.

Я развел руками.

— Закон зимовки, Ваня, имею право выбора. — Я проводил летчиков до двери и прошелся по комнате, приводя в порядок свои мысли. — Такие дела, кандидат каких-то наук...

Вбежал Костя.

— Николаич, «Обь»... торопят, синоптики с ума сходят!

— Скажи, минут через десять, Крутилин самолет раскулачивает.

Забыв прикрыть дверь, Костя поспешил в радиорубку, а я стал осматриваться, чтобы не оставить в суматохе важных бумаг.

— Песню спеть на дорожку? — донесся голос Филатова.

— Весельчак! — раздраженно бросил кто-то.

— Обидно, без вещей... — Это Пухов. — Сколько раз на дрейфующих барахло тонуло, а сейчас сам бросаю.

— Решено, кто с Крутилиным? — Это, кажется, Дугин,

— Нам с Веней там спальные места оборудуют, — Сашин баритон, — Костя просился... Может, и ты с нами, Женька?

— Чего он там тянет? — Это Димдимыч по моему адресу.

— Не может начальство без эфффекта, — с иронией, Груздев. — О чем задумались, Иван Тарасович?

— Хорошо у нас под Полтавой... Уже вишни цветут...

— Вишни... Кто про что...

— Не нравится — не слухай.

— Ну, долго он еще там будет?

— Спокойнее, друзья, время у нас есть.

— Андрей Иванов, а нельзя гитару под полой — контрабандой?

Я взял портфель с бумагами, еще разок осмотрелся и вышел в кают-компанию. Все притихли. Я сел на свое место за столом.

— Прошу слушать меня внимательно, друзья. Положение с самолетами всем понятно и объяснений не требует. Думаю, что четыре добровольца, готовые лететь на самолете Крутилина, назовут себя сами...

— Мы с Веней... — начал Бармин.

— Подожди, Саша, я не закончил. Одним из четверых буду я, остаются трое...

— Мы с Веней...

— Да подожди, черт побери!.. Крутилин всячески облегчает самолет, каждый килограмм на учете, поэтому полетят с Крутилиным не те, кто первым открыл рот, а те, кто легче.

— Хороша демократия! — Груздев пожал плечами. — Вы же первый нарушили этот принцип.

— Прошу без лишних слов, Груздев, Моя кандидатура не обсуждается, должно же начальство, — я усмехнулся, — иметь какие-то привилегии.

— Как угодно, — сухо заметил Груздев.

— Да, мне так угодно. На очереди...

— Гаранин, — безапелляционно заявил Андрей. — По весу я, кажется, вне всякой конкуренции.

— Остаются две вакансии, — констатировал я. — Георгий Борисович, я искренне сожалею, но на вид вы один из самых легких.

— Я тоже от этого не в восторге, — согласился Груздев. — Что говорит Крутилин, сколько шансов долететь благополучно?

— Он предпочитает об этом не говорить. Вас это смущает?

— Это не имеет значения. Считайте, что нас трое.

— Спасибо.

— Не пойму, за что, но пожалуйста.

Я обвел глазами товарищей. Бармин и Филатов подались вперед, Томилин бросал на меня жгучие взгляды, вытирал пот со лба Дугин...

— Женя, сколько ты вешишь?

— Чего?

— Сколько вешишь, спрашиваю?

— За восемьдесят... восемьдесят два...

— Погоди. А ты, Димдимыч?

— Мой вес не имеет значения. — У Скорикова задрожали губы.

— Это ответ?

— Да.

— Значит, так? — Я был ошарашен и огорчен.

— Так.

— Что ж, ваше право, Скориков. — Я отвернулся от него. Радист Скориков больше для меня не существовал. — Вы, Пухов?

— Конечно.

— Что конечно?

— Лечу.

— С кем, черт возьми?!

— С вами, Сергей Николаич, — с некоторой торжественностью возвестил Пухов и встал по стойке «смирно», что было немного смешно.

Я с запоздалым сожалением подумал, что бывал несправедлив к этому пусть довольно трудному, но честному человеку. И не только к нему. И признать это нужно немедленно.

— Евгений Палыч, Георгий Борисович, — сказал я, — кто старое помянет, тому глаз вон?

— Это приказ начальника? — Груздев и здесь остался верен себе.

Я молча пожал им руки.

— Все, друзья. Семенов, Гаранин, Груздев и Пухов летят с Крутилиным. Остальные — с Беловым. Ну, в добрый путь!

— Николаич! — выкрикнул Саша. — Я как доктор требую, чтобы меня отправили вместе с Гараниным!

— Ничего, Саша. — Андрей улыбнулся, положил руку ему на плечо. — Расстанемся на пару часов.

— Может, кто передумает, так я как штык! — волнуясь, сказал Томилин. — У меня и дочка всего одна... и вообще не в первый раз... Вот вместо Георгия Борисыча могу... Уважьте, Борисыч!

— Спасибо, Костя, — Груздев гордо вскинул голову, — но это не в моих правилах. Я своего места не уступлю.

— Евгений Палыч! — Филатов рванулся к Пухову. — У нас и вес почти что одинаковый... и мать у вас старушка...

Трудно отпускает Антарктида

Автор: Administrator

25.08.2007 00:56 - Обновлено 25.08.2007 01:50

Пухов покачал головой.

— Тебе, Веля, спешить туда, — он показал глазами на потолок, — рановато. У тебя еще впереди столько, на всех нас хватит.

— Может, вы, Андрей Иванович? — безнадежно спросил Филатов

— Хороший ты, Веня, парень, но глупый, — ласково сказал Андрей.

* * *

Одна за другой «Аннушки» покинули станцию Лазарев. Самолеты набрали высоту и взяли курс на Север. Впереди летел Крутилин, за ним Белов.

Трудно отпускает Антарктида...

«Трудно отпускает Антарктида»: М., Советский писатель; 1982

Источник: <http://lib.aldebaran.ru>